



Н·С·ЛЕСКОВ

Николай Семёнович Лесков

**Инженеры бессребреники**  
(Праведники #6)

# Содержание

Глава первая . . . . .	0006
Глава вторая . . . . .	0011
Глава третья . . . . .	0014
Глава четвертая . . . . .	0019
Глава пятая . . . . .	0025
Глава шестая . . . . .	0030
Глава седьмая . . . . .	0039
Глава восьмая . . . . .	0042
Глава девятая . . . . .	0050
Глава десятая . . . . .	0053
Глава одиннадцатая . . . . .	0057
Глава двенадцатая . . . . .	0061
Глава тринадцатая . . . . .	0068
Глава четырнадцатая . . . . .	0080
Глава пятнадцатая . . . . .	0084
Глава шестнадцатая . . . . .	0089
Глава семнадцатая . . . . .	0092
Глава восемнадцатая . . . . .	0095
Глава девятнадцатая . . . . .	0098
Глава двадцатая . . . . .	0100
Глава двадцать первая . . . . .	0103
Глава двадцать вторая . . . . .	0106
Глава двадцать третья . . . . .	0109
Глава двадцать четвертая . . . . .	0113
Глава двадцать пятая . . . . .	0115

Глава двадцать шестая . . . . .	.0118
Глава двадцать седьмая . . . . .	.0121
Глава двадцать восьмая . . . . .	.0124
Глава двадцать девятая . . . . .	.0126
Глава тридцатая . . . . .	.0130

# **Николай Лесков**

## **Инженеры бессребреники**

# Глава первая

В тридцатых годах истекающего столетия в Петербургском инженерном училище между воспитанниками обнаруживалось очень оригинальное и благородное направление, которое можно назвать стремлением к безукоризненной честности и даже к святости. Из молодых людей, подчинившихся названному направлению, особенно ревностно ему послужили трое: Брянчанинов, Чихачев и Николай Фермор. Все эти три воспитанника инженерного училища представляют собою очень любопытные характеры, а судьба их имеет общий интерес. Во всяком случае в ней есть многое, что может пригодиться как данные для характеристики тридцатых годов, а также и для уяснения современных разномыслий по поводу мнений о значении школы и о независимости человеческого характера.

Дмитрий Александрович Брянчанинов в указанном направлении был первым заводчиком: он был главою кружка любителей и почитателей «святости и чести», и потому о нем следует сказать прежде прочих. Набож-

ность и благочестие были, кажется, врожденною чертою Брянчанинова. По крайней мере по книге, о нем написанной, известно, что он был богомолен с детства, и если верить френологическим системам Галя и Лафатера, то череп Брянчанинова являл признаки «возвышенного богопочитания».

Он был мальчик с чрезвычайно милостивою и располагающею наружностью, которая при выдержанности его характера и благородстве манер очень сильно к нему располагала. Но Брянчанинов был осторожен с детства; он не доверялся всем ласкам без разбора и вообще держал себя строго.

Так он умел себя хорошо поставить с первого же дня.

Вскоре после принятия его в инженерное училище туда приехал император Николай Павлович, бывший в то время еще великим князем. Он заезжал сюда часто, но на этот раз цель посещения была особенная, а именно «выбор пансионеров».

Николай Павлович имел обыкновение сам выбирать детей в пансионеры своего имени и руководился в этом случае не старшинством

баллов приемного экзамена, а личным взглядом, то есть великий князь назначал своими пансионерами тех, кто ему нравился.

Известно, что этот государь очень верил в проницательность своего взгляда и держался так называемых первых впечатлений. Брянчанинов же произвел на него столь благоприятное впечатление, что великий князь не только сейчас же назначил его своим пансионером, но приказал мальчику немедленно одеться и ждать его на подъезде. Отсюда Николай Павлович взял Брянчанинова с собою в экипаж и, приехав с ним в Аничков дворец, повел его за собою в покои великой княгини, впоследствии императрицы Александры Феодоровны.[1]

Великая княгиня была тогда в своем кабинете и, сидя за письменным столом, не слышала, как вошел ее супруг в сопровождении воспитанника Брянчанинова, и не оглянулась на них.

Великий князь взял Брянчанинова за плечо и поставил его за спинкою кресла государыни, а сам тихо обнял супругу и, поцеловав ее в голову, сказал ей по-французски:

– Я привез тебе представить моего нового пансионера. Посмотри на него.

Государыня оборотилась на стуле, посмотрела на мальчика в лорнет и с довольной улыбкой сказала:

– Это прекрасный мальчик.

Вслед затем Брянчанинов был накормлен во дворце сытным завтраком и отпущен в училище, где его ждали и тотчас же подвергли обстоятельным расспросам о том, что с ним было.

Скромный, но правдивый юноша рассказал все по порядку и по правде.

Благоволение великого князя ему послужило в большую пользу.

Начальство училища с этого же дня обратило на Брянчанинова особенное внимание. Характер и способности юноши были изучены и определены в точности, и в первый же раз после этого, когда великий князь спросил:

– Как Брянчанинов?

Ему по сущей справедливости отвечали:

– Он во всех отношениях примерный.

– Очень рад, – заметил с удовольствием Николай Павлович, прозорливость которого в

этом случае получала себе приятное ему подтверждение.

– А каковы его склонности и характер? – продолжал государь.

– Он очень религиозен и отличной нравственности.

– Я очень рад и очень желал бы, чтобы такие же были и другие. Пусть он им служит примером.

Приведенные слова государя моментально сделались известными воспитанникам, и между ними быстро образовался кружок юношей, желавших как можно более подражать Брянчанинову, и Брянчанинов получил в этом кружке значение вождя.

## Глава вторая

Особенное благорасположение великого князя оказало свое влияние на Брянчанинова в том смысле, что он вдруг как бы ускоренно созрел и сделался еще серьезнее. Кружок его состоял человек из десяти, и из них особенною дружбой Брянчанинова сразу стал пользоваться Миша Чихачев, которому Брянчанинов и открывал свою душу и заповедные думы, выражавшие его направления и цели.

– Самое главное в нашем положении теперь то, – внушал он Чихачеву, – чтобы сбросить себя от гордости. Я не знаю, как мне быть благодарным за незаслуженную милость великого князя, но постоянно думаю о том, чтобы сохранить то, что всего дороже. Надо следить за собою, чтобы не начинать превозноситься. Прошу тебя: будь мне друг – наблюдай за мною и предостерегай, чтобы я не мог утрачивать чистоту моей души.

Чихачев обещал ему эту помощь.

– Прекрасно, – отвечал он, – я всегда скажу тебе правду, но в этом и не будет надобности, так как ты уже нашел средства спасти себя от

соблазна.

– Что ты этим хочешь сказать?

– Ты сам сказал: надо *не начинать*, и если ты никогда не будешь начинать, то оно никогда и не начнется...

– Твоя правда, – ответил, подумав, Брянчанинов, – но... все-таки наблюдай за мною. Я боюсь, что могу быть втянут на этот путь от тех самых людей, которые должны быть мне примером. Ведь мы «должны быть покорны начальникам нашим»...

– Да, это правда, – ответил Чихачев и тотчас же заметил, что лицо Брянчанинова вдруг как бы озарилось какою-то радостною мыслью, – он взял товарища за обе руки, сжал их в своих руках и, глядя с серьезною восторженностью вверх, как бы читал под высоким карнизом покоя:

– Я вижу одно верное средство для того, чтобы не поддаться опасности соблазна, который представляют люди, и ты, может быть, отгадываешь, в чем оно заключается...

– Мне кажется, что я отгадываю, о чем ты думаешь.

– Я думаю, что надо всегда смотреть на бо-

гочеловека.

– Ты прав.

– Поверь – если мы не будем сводить с него наших мысленных глаз и будем стараться во всем ему следовать, то для нас нет никакой опасности. Он нас спасет от опасности потерять себя во всех случаях жизни.

– Верю.

– И вот он с нами, и мы в нем, и он в нас. Мне кажется, я понял сейчас в этих словах новый, удивительный смысл.

– И я тоже.

Товарищи восторженно обнялись и с этой минуты сделались неразрывными друзьями. Дружба их, впрочем, носила особый отпечаток чего-то аскетического. Они дружили для того, чтобы поддерживать один другого в общем их стремлении уйти от житейских соблазнов к поднявшему их возвышенному идеалу чистой жизни в духе христианского учения.

## Глава третья

Из различных путей, которыми русские образованные люди подобного настроения в то время стремились к достижению христианского идеала, наибольшим вниманием и предпочтением пользовались библейский пиетизм и тяготение к католичеству, но Брянчанинов и Чихачев не пошли вослед ни за одним из этих направлений, а избрали третье, которое тогда только обозначалось и потом довольно долго держалось в обществе: это было православие в духе митрополита Михаила. Многие тогдашние люди с благочестивыми стремлениями и с образованным вкусом, по той или другой причине, никак не могли «принять все как в катехизисе», но не хотели слушать и «чуждого гласа», а получали успокоение для своих мучительных противоречий в излюбленных толкованиях и поучениях Михаила. Находить же религиозное примирение с своею совестью – кому не дорого из людей, имеющих совесть? И у Михаила было очень много почитателей, оставшихся ему верными и после того, как в его сочинениях

признано было не все «соответственным».

Брянчанинов и Чихачев были из числа больших почитателей преосв. Михаила.[2] Они внимали и охотно усвоивали его религиозные мнения и пошли по его направлению в котором они могли не предаваться чуждому русской натуре влиянию католичества и в то же время не оставаться наедине без всякой церковной теплоты, на что приходилось обречь себя людям, следовавшим строго пие-тистическим традициям.

Оба молодые человека рано стали вести самую воздержную жизнь, разумя воздерж-ность не в одной пище, но главным образом в недопущении себя до гнева, лжи раздражи-тельности, мщениа и лести. Это дало их ха-рактерам не только отпечаток благородства, но и благочестия, которое вскоре же было замечено сначала товарищами, а потом и начальством, и создало Брянчанинову такое почетное положение среди воспитанников, ка-кого не достигал в инженерном училище ни-кто другой ни до него, ни после него. Ему все верили, и никто не имел случая сожалеть о своей с ним откровенности, но откровенность

эта тоже имела особенный, ограничительный характер, отвечавший характеру благочестивого юноши, рано получившего от товарищей прозвище «монаха». Брянчанинову нельзя было говорить ни о каких школьных гадах, так как он всегда был серьезен и не любил дурных школьных проделок, которые тогда были в большом ходу в закрытых русских училищах. Ни Брянчанинов, ни Чихачев не участвовали тоже ни в каких проявлениях молодечества и прямо говорили, что они желают не знать о них, потому что не хотят быть о них спрошенными, ибо не могут лгать и не желают ни на кого доказывать. Такая твердая откровенность поставила их в особенное, прекрасное положение, в котором они никогда не были в необходимости никого выгораживать, прибегая ко лжи, и ни на кого ничего не доказывали. Воспитатели знали этот «дух» Брянчанинова и Чихачева и никогда их не спрашивали в тех случаях, когда представлялась надобность исследовать какую-нибудь кадетскую проделку. С откровенностями в этом роде товарищи к Брянчанинову и Чихачеву и не появлялись, но зато во

всех других случаях, если встречалось какое-либо серьезное недоразумение или кто-нибудь имел горе и страдание, те смело обращались к «благочестивым товарищам-монахам» и всегда находили у них самое теплое, дружеское участие. К Брянчанинову обращались тоже в случае несогласий между товарищами и его мнение принимали за решение, хотя он сам всегда устранился от суда над другими, говоря: «Меня никто не поставил, чтобы судить и делить других». Но сам он делился с нуждающимися всем, чем мог поделить-ся.

Чихачев хотя был того же самого духа, как и друг его Брянчанинов, но имел второстепенное значение, с одной стороны, потому, что Брянчанинов обладал более яркими способностями и прекрасным даром слова, а с другой – потому, что более молодой по летам Чихачев добровольно тушевался и сам любил при каждом случае отдавать первенство своему другу.

Влияние их на товарищей было большое; учились они оба прекрасно, и начальство заведения надеялось, что из них выйдут превос-

ходные инженеры. В том же был уверен и великий князь, который «очень желал видеть в инженерном ведомстве честных людей».

Оба друга окончили курс в 1826 году, сохранив за собою свое почетное положение до последнего дня своего пребывания в училище, оставили там по себе самую лучшую память, а также и нескольких последователей, из которых потом вскоре же отличился своею непосредственностью и неуклонностью своего поведения Николай Фермор, о котором расскажем ниже.

# Глава четвертая

По окончании кадетских классов в инженерном училище Брянчанинов и Чихачевы вышли на вольную квартиру и поселились вместе на Невском проспекте в большом и очень нелепом доме Лопатина. Дома этого теперь уже не существует – он сломан, и по месту, которое занимал его обширный двор, пролегает нынешняя Пушкинская улица.

Удаление из-под надзора, которому друзья подчинялись в закрытом заведении, открыло им большую свободу располагать своим временем сообразно своим стремлениям и вкусам. Они этим и воспользовались. Они повели образ жизни самый строгий – чисто монашеский, – соблюдали постные дни; не посещали никаких увеселений и гульбищ; избегали всяких легкомысленных знакомств и ежедневно посещали церковь. Каждый день они вставали очень рано и шли пешком в Невскую лавру, где выслушивали раннюю обедню, и затем там же пили чай у голосистого иеродиакона Виктора.[3] Об этом Викторе сохранилось предание как о монахе очень сла-

бом – он вел самую нетрезвую жизнь и говорил всем грубости, но ему все это прощалось за хороший голос и за отменное мастерство руководить исполнителями при торжественных богослужениях. Но как человек он был очень добр, прям и до того откровенен, что не мог нимало покривить душою и притвориться. Такою своею прямою он содержал в постоянном страхе известного Андрея Николаевича Муравьева, которого находил «противным», а его молодых «сен-сиров» называл «сквернавцами» и просто выгонял вон.

Помолившись за раннею обедней и напившись чаю у Виктора, друзья шли в свое инженерное училище, в офицерские классы, где оставались положенное время, а потом уходили домой, скромно трапезовали и все остальное время дня проводили за учебными занятиями, а покончив с ними, читали богословские и религиозные книги, опять-таки отдавая перед многими из них предпочтение сочинениям митрополита Михаила.[4]

Мягкое, миролюбивое, христианское настроение этого писателя оказало чрезвычайно сильное влияние на обоих молодых людей

и изменило путь их жизни и деятельности. Первое, чем повредил им Михаил, выразилось тем, что ни Брянчанинов, ни Чихачев не захотели воевать и не могли сносить ничего того, к чему обязывала их военная служба, для которой они были подготовлены своим специальным военным воспитанием. Потом они не попадали в общий тон тогдашнего инженерного ведомства, где тогда инспекторствовал генерал Ламновский, имя которого было исторически связано с поставкою в казну мрамора, почему его и звали «мраморным». В инженерном ведомстве многие тогда были заняты заботами о наживе и старались ставить это дело «правильно и братски», – выработывали *систему самовознаграждения*.

«Монахи» не хотели ни убивать людей, ни обворовывать государства и потому, может быть по неопытности, сочли для себя невозможною инженерную и военную карьеру и решили удалиться от нее, несмотря на то, что она могла им очень улыбаться, при их хороших родственных связях и при особенном внимании императора Николая Павловича к Брянчанинову. Государь хотя о нем теперь

уже не осведомлялся так часто, как прежде, но если бы Брянчанинов захотел, то ему, при его упомянутых родственных связях, всегда было легко напомнить о себе государю, и тот, без сомнения, оказал бы ему свою всеильную помощь. Брянчанинов, однако, этого не только не искал, но даже удерживал родных от всяких о нем забот в этом роде. Он старался держать себя незаметно и скромно и как будто имел на уме что-то другое.

Совершенно так же вел себя и Чихачев. А между тем они оба окончили офицерские классы и были выпущены на службу: Брянчанинов из верхнего класса в Динабург, а Чихачев из нижнего – в учебный саперный батальон. Тут они на время расстались, и в 1827 году Брянчанинов выпросился в отставку и ушел в свирский монастырь, где и остался послушником. По другим сведениям это было иначе, и это интересно, потому что вторая версия содержательнее и полнее выражает поэтическую борьбу молодых аскетов, как о ней рассказывали в обществе.

По рассказам современников, Брянчанинов и Чихачев колебались уходить из мира в

монастырь и решились на это только тогда, когда представилась необходимость взяться за оружие для настоящих военных действий.

Как только у нас возгорелась война с Турцией, то Чихачев и Брянчанинов оба разом подали просьбы об отставке. Это было и странно, и незаконно, и даже постыдно, так как представляло их трусами, но тем не менее они ни на что это не посмотрели и просили выпустить их из военной службы в отставку.

Истинная причина их уклонения от военной службы в прошениях их была не объяснена, но их семейным и друзьям было известно, что она заключалась в том, что они находили военное дело несовместным с своими христианскими убеждениями. Как люди последовательные и искренние, они не хотели не только воевать оружием, но находили, что не могут и служить приготовлением средств к войне. Впрочем, и самое возведение оборон они не усматривали возможности производить с полною честностью. Им казалось, что надо было «попасть в систему самовознаграждения» или противодействовать тем, чьи при-

казания должно было исполнять.

Конечно, со стороны молодых людей тут было, может быть, значительное преувеличение опасности, но тогда взятки царили повсюду, и сам государь Николай Павлович, как явствует из многих напечатанных впоследствии анекдотов, находил себя не в силах остановить это страшнейшее зло его времени.

Нашим «монахам» казалось, что служить честно – это значило постоянно поперечить всем желающим наживаться, и надо порождать распри и несогласия, без всякой надежды отстоять правду и не допускать повсюду царствовавших злоупотреблений. Они поняли, что это подвиг, требующий такой большой силы, какой они в себе не находили, и потому они решились бежать.

Борец более смелый еще подрастал.

## Глава пятая

Когда государю было доложено, что Брянчанинов и Чихачев подали прошения об отставке, император разгневался и сказал: «Это вздор!» – и их не выпустили. Надо было покориться, но при хороших связях тогда удавалось многое, что для людей обыкновенного положения было невозможно. Через некоторое время, когда войска наши уже двинулись в Турцию, Брянчанинов и Чихачев опять подали вторично просьбы об отставке, но в этот раз прибегнули уже к содействию тех родственников связей, которыми не хотели пользоваться до сей поры для других целей. Связи эти были столь сильны, что дело прошло как-то мимо государя, и Чихачева с Брянчаниновым тихонько выпустили в отставку, «под сурдинкою».

Это было будто бы уже на походе, и молодые друзья должны были отстать от своих частей при пересудах и ропоте своих товарищей, из которых одни им завидовали, как баричам, уходившим от службы в опасное время, а другие старались дать им чувствовать

свое презрение, как трусам.

Друзья предвидели такое истолкование своего поступка и перенесли эти неприятности с давно выработанным в себе спокойствием. В утешение себе они знали, что они не трусы и удаляются от войны не из боязни смерти, а потому они не обижались, а спешили как можно скорее и незаметнее «бежать из армии».

Выход их будто бы в самом деле был похож на побег: об отпуске их из частей старались не говорить – их будто куда-то «послали», и потом они совсем скрылись, избежав, таким образом, еще многих других неприятностей.

[5]

Сначала они будто отправились к северу вместе, но на дороге расстались: Брянчанинов поехал в Петербург, где пребывание его казалось очень опасным, потому что он тут беспрестанно рисковал попасть в глаза императору, а Чихачев приехал к своей сестре Ольге Васильевне, по мужу Кутузовой. Он говорил о своем возвращении не много и не ясно, а о дальнейших своих намерениях совсем не говорил ничего. Его находили «странным»,

как будто потерянным или отрешенным от мира и не предающимся живо ни радостям, ни печалям. Это было очень тяжело видеть в молодом человеке, и семейные Чихачева общими силами старались узнать, «что у него на душе». Одни думали, «влюблен», другим казалось, «замешан», а один родственник с волтерьянскою заправкой уверял, что племянник «помешан».

– На чем?

– Гордец. Хочет быть лучше всех... Набожный чистоплюй... Пусть мир тонет в смраде греха, а он будет сидеть, как дрозд на березке, и свои перышки перечищать носиком... Чистоплюй!

На этого волтерьянца махали рукою, а Чихачев в один прекрасный день пропал из дома.

Мать и сестра его были в отчаянии. Особенно мать, беспокойства которой возрастали от целой тучи предположений и догадок, одна тревожнее другой. Положение было ужасное. Семья и старалась искать беглеца и в то же время боялась, чтобы не распространился широко слух об его исчезновении. Надо было,

чтобы это не дошло как-нибудь в Петербурге до государя. Всего ужасно боялись – и надо было бояться. Начались и очень долго продолжались в величайшем секрете большие поиски, в которых принимали участие родственники пропавшего и особенно преданные и доверенные крепостные слуги, – шла, с кем можно, осторожная, но горячая переписка, но все это оставалось без результатов. Спросили даже волтерьянца, но тот вместо ответа посоветовал читать житие Алексея человека божия, так как, по его мнению, Чихачев будто всего вероятнее поревнует примеру этого святого. На «бесчувственного циника» кивали головами, а следов пропавшего беглеца все-таки не находили нигде. Семья и особенно мать переносили тяжкое горе и вдобавок должны были молчать и не показывать вида, что молодой человек пропал, и так продолжалось до тех пор, пока, наконец, он сам объявился в Николо-Бабаевском монастыре на Волге. Волтерьянец угадывал всех ближе к истине: оба друга, Чихачев и Брянчанинов, появились вместе в Бабайки, и тут же оба вместе начали одновременно свой путь в

иночестве,[6] которое было им как бы врожденно и в школе напроорочено.

Где бежавший из имения О. В. Кутузовой Чихачев встретился с появившимся на короткое время в Петербурге Брянчаниновым – это осталось их тайною, которая, может быть, и не представляет ничего особенно интересного, но тем не менее они об этом никогда не говорили. Важен тот факт, как и где началось это «последование Алексею человеку божию» и чем оно разрешилось, представив собою нам два врожденные характера, достопримечательные своею цельностью и последовательностью.

Их не в силах были изменить ни среда школы и ее направление, ни самый лестный фавор, ни строгое осуждение, ни укоризны трусостью как пороком, который должен бы несносно уязвлять благородное чувство, если бы оно не видало себе оправдания в идеале высшем. Пусть, быть может, этот идеал понят и узко, но тем не менее он требовал настоящего мужества для своего целостного осуществления. И у Брянчанинова с Чихачевым не оказалось недостатка в мужестве.

## Глава шестая

Проходит ряд лет тихих монастырских трудов, и Брянчанинов снова попадает на вид государя. Сделать это решился московский митрополит Филарет Дроздов, которому, конечно, небезызвестно было, что император Николай Павлович не хотел выпускать Брянчанинова в отставку. Напомнить теперь о нем значило привести на память государю всю историю, и он мог спросить: кто и когда выпустил Брянчанинова? Но Филарет все-таки вывел Брянчанинова, приспособленного совсем не к тем целям, к которым его тщательно приготавливало петербургское инженерное училище.

Спустя лет десять, в продолжение которых император Николай Павлович не вспоминал о Брянчанинове и Чихачеве, государь в одну из своих побывок в Москве посетил митрополита Филарета и выражал неудовольствие по поводу событий, свидетельствовавших о большой распущенности в жизни монахов. Митрополит не возражал, но сказал, что есть теперь прекрасный игумен, настоящий мо-

нах, на которого можно положиться, и с ним можно будет многое поочистить и исправить в монастырях.

– Кто этот редкий человек? – спросил государь.

– Игнатий Брянчанинов.

– Брянчанинов? Я помню одного Брянчанинова в инженерном училище.

– Это тот самый и есть.

– Разве он пошел в монахи?

– Он уже игумен.

– Да, я помню, он и в училище еще отличался набожностью и прекрасным поведением. Я очень рад, что он нашел свое призвание и может быть полезным для управы с монахами. Они невозможны.

– Отец Игнатий уже привел несколько монастырей в отличный порядок.

– В таком разе, если он у вас уже привел в порядок, то я попрошу вас теперь дать его мне, чтобы он мне поочистил хоть немножко мою петербургскую Сергиевскую пустынь. Там монахи ведут себя так дурно, что подают огромный соблазн.

– Воля вашего величества будет исполне-

на, и я твердо надеюсь, что Игнатий Брянчанинов окажется полезным всюду, куда вам угодно будет его назначить.

– Очень рад, но жалею, что он один такой: один в поле – не воин.

– С ним есть его друг – такой же строгий монах – Чихачев.

– Ба! Чихачев! Это тоже из той же семьи – мой кадет.

– Точно так, ваше величество.

– Ну так и прошу перевести их вместе.

Брянчанинов приехал игуменом в Сергиевскую пустынь и привез с собою друга своего Чихачева, который был с этой поры его помощником, и оба они начали «чистить» и «подтягивать» Сергиевских монахов, жизнь которых в то время действительно представляла большой соблазн, легендарные сказания о коем и до сей поры увеселяют любителей этого жанра.[7]

Последующая духовная карьера Игнатия Брянчанинова известна. Он был епископом без образовательного ценза и имел много почитателей и много врагов.

Чихачев не достиг таких высоких иерархи-

ческих степеней и к ним не стремился. Ему всю жизнь нравилось тихое, незаметное положение, и он продолжал тушеваться как при друге своем Брянчанинове, так и после. Превосходный музыкант, певец и чтец, он занимался хором и чтецами и был известен только в этой области. Вел он себя как настоящий инок, никогда, впрочем, не утрачивая отпечатка хорошего общества и хорошего тона, даже под схиною. Схиму носил с редким достоинством, устраняя от себя всякое покушение разглашать что-либо о каких бы то ни было его особых дарах.

Даже набожные дамы, создающие у нас репутацию святых и чудотворцев при жизни, ничего особенного о Чихачеве внушать не смели. Он ни предсказаний не делал, ни чудес не творил.

Музыкальные и вокальные способности и познания Чихачева до некоторой степени характеризуются следующим за достоверное сообщаемым случаем: одна из его родственниц, Мария Павловна Фермор, была замужем за петербургским генерал-губернатором Кавелиным. Чихачев нередко навещал ее. Однажды,

когда он сидел у Кавелиной, к ней приехал с прощальным визитом известный Рубини. Кавелина, знакомя встретившихся гостей, сказала Рубини, что Чихачев – ее дядя и что он хотя и монах, но прекрасно знает музыку и обладает превосходным голосом.

– Но вас он никогда не слышал, – добавила Мария Павловна.

– Почему же это так?

– Это потому, что у нас духовные лица не могут ходить в театры.

– Какая жалость, – отвечал Рубини, – музыка возвышает чувства, и театр может наводить на очень глубокие размышления.

– Ну, уж как бы это там ни было, а у нас такое правило, что монахи опер не слушают.

– Но все равно ваш дядюшка мог быть в моем концерте.

Кавелина улыбнулась и отвечала:

– Нашим монахам не позволено бывать и в концертах.

– Это варварство! – воскликнул Рубини, – и, я думаю, вы не станете ему следовать и не запретите мне спеть при вашем дяде.

– Я буду от этого в восторге.

– А вы ничего против этого не имеете? – обратился, живо вставая с места, Рубини к самому Чихачеву.

– Я очень рад слышать знаменитого Рубини.

– В таком случае Рубини поет с двойною целью, чтобы доставить удовольствие хозяйке дома и своему собрату, а в то же время, чтобы сделать неудовольствие грубым людям, не понимающим, что музыка есть высокое искусство.

Мария Павловна Кавелина открыла рояль и села аккомпанировать, а Рубини стал и пропел для Чихачева несколько лучших своих арий.

Чихачев слушал с глубочайшим вниманием, и, когда пение было окончено, он сказал:

– Громкая слава ваша нимало не преувеличивает достоинств вашего голоса и уменья. Вы поете превосходно.

Так скромно и достойно выраженная похвала Чихачева чрезвычайно понравилась Рубини. Ему, конечно, давно уже надокучили и опротивели все опошленные возгласы дешёвого восторга, которыми люди банальных

вкусов считают за необходимое приветствовать артистов. В словах Чихачева действительно была похвала, которую можно принять, не краснея за того, кто хвалит. И Рубини, сжав руку монаха, сказал:

– Я очень рад, что мое пение вам нравится, но я хотел бы иметь понятие о вашем пении.

Чихачев сейчас же молча встал, сам сел за фортепиано и, сам себе аккомпанируя, пропел что-то из какого-то духовного концерта.

Рубини Пришел в восхищение и сказал, что он в жизнь свою не встречал такой удивительной октавы и жалеет, что лучшие композиторы не знают о существовании этого голоса.

– К чему же бы это послужило? – произнес Чихачев.

– Для вашего голоса могли быть написаны вдохновенные партии, и ваша слава, вероятно, была бы громче моей.

Чихачев молчал и, сидя боком к клавиатуре, тихо перебирал клавиши.

Рубини встал и начал прощаться с Кавелиной и с ее гостем.

Подав руку Чихачеву, он еще раз сильно

сжал его руку, посмотрел ему в глаза и воскликнул с восторгом:

– Ах, какой голос! какой голос пропадает безвестно!

– Он не пропадает: я им пою богу моему дондеже семь, – проговорил Чихачев по-русски.

Рубини попросил перевести ему эту фразу и, подернув плечами, сказал:

– Ага!.. Да, да... это другое дело.

К сожалению, престарелый свидетель этого происшествия не мог вспомнить, что такое пел для Рубини Чихачев в гостиной М. П. Кавелиной. А это очень любопытно, потому что голос у Чихачева была знаменитая октава, которая очень важна в хоре, но не solo. Следовательно, очень бы интересно знать, что такое Чихачев мог исполнить один своею октавой и притом в таком совершенстве, что вызвал восторги у Рубини.

Может быть, кто-нибудь это знает от какого-нибудь более памятливого свидетеля или современника. Это весьма возможно, так как встреча Рубини с Чихачевым в гостиной генерал-губернаторского дома и все, что там про-

изошло, говорят, очень быстро распространилось в «свете» и было разнесено молвою по городу. Знал об этом и император Николай, и ответ Чихачева: «пою богу моему» чрезвычайно ему понравился.

## Глава седьмая

После выхода Брянчанинова и Чихачева из инженерного училища там не переставал держаться их дух, которым от них «надышались» малыши и в свою очередь показали черты, совершенно непригодные для службы, к какой они предназначались по своему специальному образованию. Одним из наиболее «надышавшихся» был Николай Фермор.

В инженерном училище воспитывались два брата Ферморы, Павел и Николай. Старший, Павел Федорович, учился в одно время с Брянчаниновым, был с ним дружен и находился под его непосредственным духовным влиянием, а младший, Николай Федорович, шел позже, вслед за братом, и поступил в инженерное училище, когда государь Николай Павлович уже перестал быть великим князем, а сделался императором. Непосредственное внимание его тогда к училищу, за множеством других дел, уже прекратилось, и только в преданиях рассказывалось, как он, бывало, заходил в училище с вечерней прогулки, иногда даже вдвоем с государыней Александрой

Феодоровной. Ее, бывало, оставит в зале, а сам обходил дортуары, где воспитанники уже спали, и Ламновский чаще всех имел удачу встречать великого князя и через то казался ему очень усердным к своему инспекторскому служению, что на самом деле было далеко не так.

По вступлении Николая Павловича на престол высшее попечение об инженерном училище имел брат государя, великий князь Михаил Павлович. Он слыл за очень строгого и грозного и любил, чтобы его боялись, – и его действительно очень боялись и даже трепетали дети. Ламновский при нем продолжал служить, как и при Николае Павловиче. «Дух» в училище держался все тот же: одними практиковалась «система самовознаграждения», а другие к этому присматривались и приспособлялись, каждый по соображениям своего ума. Одни выходили во вкусе Ламновского, другие в менее смелом, но еще в более тонком роде и «мелочами не мазались». После взятия Варшавы, когда там, в Новогеоргиевске и в других пунктах бывшего Царства Польского, началась постройка новых крепо-

стей, «система самовознаграждения», казалось, достигла до самого наивысшего своего развития. Больше всего достойна памяти и удивления откровенность этого направления в молодежи: инженерные юнкера весело и беззастенчиво говорили, что они «иначе не понимают, как быть инженером – это значит *купаться в золоте*». Так они и росли с этим убеждением, укреплялись в нем и, выходя, начинали его практиковать.

Но как везде бывают и всегда могут быть неподходящие к общему правилу исключения, так было и здесь. Рядом с теми, которые приспособлялись активно практиковать «систему самовознаграждения», или хотя пассивно «не мешать товарищам», были беспокойные отщепенцы, «надышавшиеся брянчаниновским духом». Их звали «сектою» и недаром на них косились, как бы предчувствуя, что из них, наконец, выйдет когда-нибудь «предерзкая собака на сене». Таковою и вышел Николай Фермор.

## Глава восьмая

«Секта Брянчанинова», под влияние которой подпал в инженерном училище Николай Федорович Фермор, к его времени потерпела значительное изменение в духе. С отходом первого своего основателя и руководителя Брянчанинова и его друга Чихачева она утратила преобладание религиозного направления, но зато еще более повысила требования общей честности и благородства.

Разумеется, все это держалось в очень небольшом кружке юношей, которые не только составляли меньшинство, но были, так сказать, каплею в море, которую с полным удобством можно было не замечать или считать ни во что. Начальство так на них и смотрело: оно о них кое-что знало и называло их «мечтателями», но не опасными. В училище сии не могли оказывать никому никакой помехи, а с выходом на службу преобладающее общее настроение, казалось, без сомнения, должно их убедить в непригодности их мечтаний и сравнять со всеми другими, которые ничего мечтательного не затевали, а ортодок-

сально верили, что «быть инженером – значит купаться в золоте». Многочисленные опыты убеждали солидные умы в пользу этого успокоительного предположения, и опасаться серьезного вреда от бессребреников было нечего.

Николай Фермор, однако, представлял своим характером исключение и с ранних пор заставлял думать, что его увлечения честностью и благородством могут когда-нибудь сделаться в серьезной степени неудобными и причинят с ними хлопоты.

Это и оправдалось.

Что он проповедовал безусловное бескорыстие и честность, находясь в училище, с этим можно было еще не считаться, но он упорно держался того же и по выпуске его в офицеры. На самом первом шагу своего выхода в свет, когда бывшие товарищи по училищу собрались вместе, чтобы «взбрызнуть свои эполеты», Фермор за обедом прочитал стихи своего сочинения, в которых взывал к совести своих однокашников, приглашая их тут же дать друг перед другом торжественную клятву, что они будут служить отечеству с совер-

шенным бескорыстием и не только ни один никогда не станет вознаграждать себя сам, по «системе самовознаграждения», но и другим этого не позволит делать, а, несмотря ни на что, остановит всякое малейшее злоупотребление и не пощадит вора. Он этого требовал в своих горячих и, как говорят, будто бы очень недурных стихах и сам же первый произнес торжественную клятву свято, неотступно следовать во всю жизнь своему воззванию.

Читая свое стихотворение, он был разгорячен и взволнован, глаза его горели, он сам дрожал и, все выше и выше возвышая голос, окончил истерическим экстазом, который многим был неприятен и приписан влиянию выпитого поэтом вина. Такого действия, какого ожидал горячий юноша, не последовало: с ним никто не спорил, никто не говорил, что то, к чему он призывал товарищей, было дурно, но никто к нему на грудь не бросался, дружного звона сдвинутых бокалов не раздавалось, а, напротив, многие, потупив глаза в свои приборы, обнаруживали смущение и как будто находили в обличительных словах поэта нечто неуместное, колкое, оскорбитель-

ное для старших и вообще не отвечающее веселому характеру собрания. А некто, кажется и теперь еще живущий и по крайней мере очень недавно произносивший «речи с юмором», поправил дело, сказав, что «надо помнить о присяге и, подчиняясь ей, не заводить никаких союзов, основанных на исключительных клятвах и обязательствах».

– По крайней мере я, господа, напоминаю, что я принимал присягу и ни о каких союзах знать не хочу.

– И мы тоже, и мы! Браво! Ура!

Николай Фермор не сконфузился, но очень обиделся; он стоя дождался, пока шум стих, обвел вокруг сидевших за столом товарищей, мрачно улыбнулся и сказал:

– Ну, если мне суждено выпить мою чашу одному, то я ее один и выпью.

И с этим он выпил вино и разбил бокал, чтобы из него не пили ни за какое другое пожелание.

Это опять бросило неблагоприятную тень на общее настроение пирующих. Опять нашлись люди, которые пытались поправить слово, но это не удавалось. Кто-то возгласил

известное стихотворение Пушкина, оканчивающееся словами: «да здравствует *разум*», и все пили этот тост, но Фермор не пил, – ему не из чего было пить за «разум», – его бокал был разбит после тоста «за честность в жизни и на службе». Этот человек постоянно являлся вне общего движения – «уединенным пошехонцем», и все были рады, что он оставил общество ранее других, все по уходе его тотчас вздохнули, и веселье закипело, а он был уже один, унеся с собою неудовольствие на других и оставив такое же или, может быть, еще большее неудовольствие в этих других.

С рассказанного случая на самом первом шагу самостоятельной жизни Фермора началось его отлучение. Это не обещало ничего хорошего, но он нимало не пугался создающегося положения и еще усиливал его, раздражаясь от времени до времени новыми стихами, в которых старался как можно строже и язвительнее бичевать сребролюбие и другие хорошо ему известные порочные склонности своего звания.

Ему было сделано замечание, что так слушать нельзя.

Фермор хотел сейчас же оставить инженерную службу, боясь, что далее он еще хуже не сумеет поладить с господствовавшим в ведомстве направлением, но переменить службу ему не удалось. Великий князь Михаил Павлович знавший Николая Федоровича в училище, оставил его в Петербурге при здешней инженерной команде.

Тут не было таких дел, из-за которых молодому фанатику честности пришлось бы раздражаться, и он сносил свое служебное положение спокойно. Он даже был им доволен, но в это именно время (в 1831 году) начались большие постройки в крепостях Царства Польского, где наши инженеры особенно привольно «купались в золоте». Это ни для кого не было большою тайной, но все-таки «купанье» иногда обращало на себя внимание государя и великого князя, и тогда производилось «освежение личного состава», от чего, впрочем, дело нисколько не выигрывало, ибо лица, вновь прибывающие для освежения, немедленно же ощущали совершенную невозможность противостоять общему направлению и вскоре же, без всякого протеста,

становились такими же, как и прежние.

Кто по нежеланию, или по неумению, или из страха сам не лез в золотое русло, чтобы купаться в золоте, таких чрезвычайно предупредительно и ласково сами старшие окунали в ванны домашним порядком.

Дело было устроено так удобно, что тому, кто не хотел сам лично входить в какие-нибудь сделки, не было и никакой необходимости заниматься этим самолично. В известной части старший сам сделывался с поставщиками и приемщиками и делился со всеми своими сослуживцами, без объяснения путей и источников дохода. При таком порядке каждый «купался» без всякого насилия своей скромности и своей совести. Не доносить же на старших, – да и чем подкрепить донос? Все скажут: «это неправда» и «мир зинет – правда сгинет».

Н. Ф. Фермор был у великого князя Михаила Павловича на хорошем счету, как способный инженерный офицер, и это повело к тому, что в один прекрасный день Фермор совершенно неожиданно для себя получил перевод из Петербурга в Варшаву, где тогда про-

изводилось множество инженерных работ.

Фермор не обрадовался: он точно чувствовал, что ему там несдобровать, но он не имел такой решимости, как Чихачев или Брянчанинов, чтобы бежать от службы и скрыться под рясу монаха. Да и идеал Алексея человека божия, которому следовали в своей решимости Чихачев и Брянчанинов, не был идеалом позже их вышедшего на житейский путь Фермора. Этот тоже был религиозен, но он не хотел бежать от жизни в свете, а, напротив, хотел борьбы со злом – он хотел внести посильную долю правды и света в жизнь; Фермор был человек с гражданскими добродетелями, и для него не годились ни аскетизм, ни витание в поэзии красоты и любовных восторгов. Он писал недурные стихи, но не к «ножкам Терпсихоры», а к возбуждению духа чести в житейских отношениях, и в этом смысле значительно опережал свое время и неминуемо должен был нажить себе много недоброжелателей и врагов.

## Глава девятая

Часть, в которую Николай Фермор поступил по прибытии в Варшаву, находилась в управлении инженера, у которого «система самовознаграждения» была поставлена самым правильным образом. Никто, кроме самого начальника части, не имел надобности ничего извлекать сам в свою пользу или входить в какие бы то ни было непосредственные отношения с подрядчиками работ и поставщиками строительных материалов. Все это начальник со всею ответственностью нес на себе сам, устраняя своих подчиненных от всяких сделок, «дабы не происходило никакой путаницы». Никто из офицеров своими руками ничего от посторонних не принимал, но каждому ежемесячно, при выдаче казенного жалованья, раздавалась «прибавка» или «дачка», о происхождении которой известно было только, что она «идет из кружки». Как составлялась эта «кружка», всем было понятно: старший брал или «уэкономливал» и потом «делил, как поп на причет». Причетники получали то, что им давал отец настоятель, и

никаких частностей всей этой благостыни могли не знать. Они даже обязаны были не стараться проникать в тайны, чтобы не подвергать дитя опасности от семи нянек, а получали, что им распределялось от отца командира, и затем продолжали служить с незапятнанною совестью, исполняя приказания старшего и ни в чем ему не переча.

Словом, «система самовознаграждения» была здесь возведена на высокую степень практичности, и все были ею довольны, тем более что отец настоятель был мастер собирать кружку и делил ее не скаречно.

При разделе кружечный сбор составлял для каждого такую значительную сумму, при которой казенное жалованье было сравнительно сущою безделицей. Расписывались же только в одной этой казенной безделице, а самое значительное получение, «из кружки», выдавалось на руки без всяких расписок – по-домашнему, или по-семейному. Сколько командир собирал, об этом этикетом принято было не любопытствовать, но тем, что он дарствовал, все были довольны, потому что он был «человек благородный и давал не ску-

Пясь».

Положение это всем нравилось, и никто его изменять не хотел; но вот вдруг приезжает из Петербурга «молокосос Фермор» и не только причиняет своим безрассудным поведением всем ужасное беспокойство, но делает еще такой скандал во всем причте и в обществе, что от него надо было избавиться.

# Глава десятая

Прибыл Николай Фермор в Варшаву в свое время, по расчислению поперстного расстояния, и «как офицер, рекомендованный великим князем с наилучшей стороны», был принят с особливим вниманием.

– Вас избрал для посылки сюда сам великий князь, – сказал Фермору его начальник части. – Очень вам рады, нам хорошие молодые люди нужны, и мы постараемся, чтобы вам у нас было хорошо.

Фермор благодарил.

– Да, мы о вас позаботимся – у нас уже это так принято. Мы считаем вас своим со дня назначения. Теперь отдыхайте.

Фермор пошел отдыхать, а потом, отдохнув, явился для испрошения себе указанных занятий.

Ему отвечали, чтобы он об этом не заботился, что «занятия придут своим чередом». А «пока» ему никакого прямого назначения не было.

– Что же мне делать? Чем заниматься?

Начальнику это рвение не понравилось, и

он сразу же посмотрел на него как на человека мало дисциплинированного и «с чем-то особенным в характере». А все сколько-нибудь и в каком-нибудь отношении «особенное» тогда не нравилось и казалось подозрительным, или во всяком случае особенность не располагала к доверию и даже внушала беспокойство. Желательны были люди «стереотипного издания», которые походили бы один на другого, «как одноформенные пуговицы».

Фермор к этому не подходил и своим домогательством занятий с первого же раза не понравился.

Начальник ему ответил холодно и сухо:

– Ходите и присматривайтесь; мы увидим, к чему вы способны.

Фермор стал «ходить и присматриваться», но ему продолжало сразу не везти во мнении начальства – нашли, что он слишком внимательно присматривается.

– Что ему такое надо?

О нем списались с Петербургом в отношении того, как он положен во мнении начальства и какие у него родственные связи.

Ответ пришел успокоительный, начальство ничего особого о молодом инженере не разумело, и только великий князь Михаил благоволил к нему потому, что знал Фермора по инженерному училищу, где тот хорошо учился и был известен добрым поведением. А что касается связей, то Ферморы принадлежали к хорошей фамилии, но особенно сильных связей у них нет, и старший брат Николая, Павел Федорович Фермор, служит простым офицером в одном из гвардейских полков и даже нуждается.[8]

Сведение это успокоило варшавского начальника Николая Фермора, и он определил себе, как надо держать этого молодого офицера.

В первый же месяц, когда приспело время получать жалованье, Николай Фермор явился к казначею вместе с другими, Казначей с своими сундуками помещался в комнате, смежной с кабинетом начальника части. Инженерные офицеры входили к нему по одному, расписывались в книге и получали в одну руку из ящика ту сумму, какая им следовала из казны и в которой они расписывались, а в

другую, из особо стоявшей на полу возле казначея корзины им выдавалась обернутая в бумажку пачка, в которой заключалась сумма, значительно превосходящая казенное жалованье.

Эту получку инженеры брали из рук казначея не рассматривая и без расписки, а казначей только делал карандашом значок о выдаче ее в особой маленькой тетрадке.

Казначей был «косоротый», чиновник из писарей, в своем роде деловитый и в своем роде добрый человек, очень веселого нрава. Он иногда позволял офицерам «любопытствовать, сколько в пачке», но большею частью этого никто не делал, так как это ни к чему не вело и только могло служить перед начальством признаком строптивости.

«Косоротый», скривя губы, говорил:

– Веруй, а не испытуй. Верующему приложится, а у испытующего отнимется.

Все здраво рассуждавшие люди знали, что надо верить, и верили. За это им и давалось по вере их.

## Глава одиннадцатая

Когда вошел в казначейскую комнату Николай Фермор, «косоротый» придержал его, пока два случившиеся здесь офицера вышли, а потом предложил ему для учинения расписки казенную книгу, а когда тот расписался в получении следовавших ему казенных денег (кажется, что-то около сорока рублей), тогда казначей подал ему эти деньги и затем, спустя левую руку в стоявшую возле него корзину, подал пачку ассигнаций, перетянутую желтою бумажною полоской.

Положив эту пачку на стол рядом с отсчитанным казенным жалованьем, «косоротый» черкнул у себя в тетрадке карандашиком и, задвинув тетрадь в стол, ждал, чтобы Фермор вышел и дал место другому офицеру.

И Фермор действительно от него ушел, но пачки, перетянутой бумажною полоской, не тронул.

– Что же вы? – проговорил ему вслед «косоротый».

Фермор остановился.

– Что же вы не берете? Это ведь тоже ваше.

– Что такое? – спросил, недоумевающая, Фермор.

– Свое, что вам следует.

– Я получил все свое, что мне следует.

– И это тоже вам следует.

Казначей опять показал глазами на оставшуюся на столе пачку.

– Что же это такое?

Казначей посмотрел на него значительно и с неудовольствием и отвечал:

– Что я вам буду рассказывать! Это деньги.

– Какие?

– Государственные ассигнации.

– Сколько же их здесь?

– Сколько? Об этом не говорят, но можете сосчитать, сколько их здесь. Тут четыреста рублей.

– И они мои?!

– Да, ваши.

– Решительно не понимаю! – произнес, двинув плечами Фермор.

– Ну, так и не понимайте, – отвечал «косоротый» и при выходе Фермора бросил предназначавшуюся ему пачку опять назад в корзину.

А Николай Фермор, выйдя в комнату, где были офицеры, отыскал тех из них, с которыми уже успел познакомиться, и за великий секрет с негодованием рассказывал, какую «оскорбительную штуку» хотел было с ним проделать «косоротый».

– Я понял его, – говорил Фермор, – он меня соблазнял потому, что хотел испытывать, но это ему никогда не удастся... И зато он теперь этого больше себе никогда не позволит ни со мной, ни с другим. Пусть старшие поступают, как хотят, но люди нашего поколения должны научить этих господ, как надо уважать честность.

И он при этом только хотел продолжать, что все молодые инженеры должны образовать союз, чтобы поддерживать друг друга на честном пути бескорыстного служения, но заметил, что кучка молодежи, среди которой он сообщал о своем оскорблении, растаяла, и с ним остался только один из наиболее добросердечных товарищей, и тот не столько ему внимал, сколько убеждал оставить это на время и идти «со всеми вместе в гастрономию, так как это у нас, – говорит, – заведено и нико-

му нехорошо нарушать товарищеские обряды».

– Я себе никогда и не позволю нарушать ничего товарищественного, но я ужасно взволнован казначеем... Это его презрение к моей чести...

– Полноте, пожалуйста, да он и не думает ни о чьей чести!

– Но тогда что же дает ему такую уверенность? И притом, я ведь еще ничего не делал, а только «ходил да присматривался».

– Ну, полно вам добираться... «Ходите да присматривайтесь», тогда и поймете. А впрочем, в «гастрономии» у нас своя инженерная зала, и мы можем там продолжать наш разговор, а теперь пойдёмте туда скорей, чтобы не задерживать товарищей.

Они пошли в «гастрономическое отделение», где Николай Фермор повторил в усиленном виде сцену в том же самом роде, как та, которую он разыграл в Петербурге, на пиру вновь вышедших инженеров.

## Глава двенадцатая

**В** «гастрономию» в Варшаве ходили только такие люди, у которых есть «глупые деньги». Здесь, правда, можно было получать самые утонченные и редкие вещи, но зато надо было платить за все чрезвычайно дорого. Людям, не имеющим лишних средств, сюда и порога переступить было не для чего, а с тех, которые сюда заходили, драли уже цены без всякого милосердия.

Самыми любимыми и наиболее обираемыми посетителями «гастрономии» были русские инженеры, которые «купались в золоте».

Если русские армейские войска полонили Варшаву, то русские инженеры несомненно полонили варшавскую «гастрономию» и приложили старание внушать здешней челяди уважение к русскому имени. Именитые поляки, поддерживавшие здесь ранее честь польской аристократии, присмирели и были вытеснены в «малые кабинеты», а самым большим помещением завладели русские инженеры и назвали его «инженерным залом». Сюда при них никто не смел приходить и са-

даться, потому что инженеры во всякое время могли его подавить грандиозностью своего поведения.

В обычае своем они были люди еще очень простые, и в день получения жалованья и паек в бумажных полосках приходили в гастрономию «валом», то есть почти во всем составе, со включением и «косоротого». Здесь пили и ели много, забирая все, что есть самого лучшего и самого дорогого; засиживались долго, сколько хотели, и платили за все настоящим благородным манером, то есть не торгуясь и даже не считая, что действительно взято и что бессовестно присчитано.

После отшедшего века магнатории они начинали век инженерии, и, должно признаться, начинали его со славою. Заря, облиставшая инженерную славу, поднималась в Варшаве и Новогеоргиевске и оттуда светила далее, против естества, – с запада на восток, через Киев, даже до Баку и Ленкорани, ибо ныне даже и там воспрославлено имя русского инженера.

С такими-то людьми, если не барственных, то по крайней мере широких привычек очу-

тился чудак, опоенный самую щекотливою честностью, и он повел себя в этом почтенном сообществе как старинный юродивый в золотом чертоге. Он жался, толкался, хмурился, оставался нелюдим, не принимал никакого живого участия в товарищеском разгуле и не только почти ничего не ел, но и не пил, а между тем чувствовал над собою нечто демоническое и ужасное, подобное тому, что ощущают некоторые люди, проезжая над пропастью. Не проглотив ни одного глотка вина, Фермор опьяневал от одних паров, от одной атмосферы и чувствовал неотразимую тягу броситься в зияющую бездну, мимо которой ему нимало не тесно было бы пройти, если бы его туда не влекло и не толкало все вместе взятое, чего не ощущал никто, кроме его одного. Его прямолинейные понятия и чувствительные нервы не переносили всей массы этих впечатлений, и он теперь философствовал и жег себя огненными муками.

«Жизнь меня обманула! – рассуждал он и так написал в письме к своему родственнику. – Я догадываюсь, что у нас честно жить очень трудно и даже невозможно. Напрасно

нам в таком случае представляют примеры из жизни чужих народов. У других выгодно быть честным, а у нас нет. У нас с умом и с честностью обходятся несравненно суровее и беспощаднее, чем с бездарностью и с искальством. У нас с честностью можно только страдать и пресмыкаться. Я все изжил, еще почти не начиная жить. Если бы у меня был сын, я бы теперь уже не знал, как его воспитывать. Чтобы он не был несчастлив, надо, чтобы он не был очень честен и на все был стоворчив. От этого я никогда не буду иметь своей семьи. На честных людей хорошо любить со стороны, но мучительно заставлять близкого человека переносить все в его собственной коже. Задумываюсь даже, стоит ли жить и самому? Я не вижу смысла жить в том ужасном сознании, что чести и настоящему благородству нет места в русской жизни... Этого никто один исправить не может, а при этом честно жить невозможно...»

И вдруг в этом самом роде он заговорил перед всеми, заседавшими в «гастрономии». И в то же самое время, как он это говорил, он не понимал: зачем и с какой стати он это гово-

рит? Он никак не мог вспомнить ни момента, ни случая, когда в нем вздрогнули вещие струны пророческой арфы и он пошел «глаголом жечь сердца людей». А в то же время он понимал, что делает что-то совершенно неудобное, расстроивающее компанию и потому неприличное и даже обидное. Он видел, что люди встают и отходят от него, пожимая плечами и кидая на него презрительные взгляды, и вот уже нет никого, а только один «косоротый» лег грудью на стол и, положив на руки голову, крепко опит, посвистывая носом.

На другой день Фермор ощущал чад и туман в голове, как будто он неумеренно пил, тогда как на самом деле он совсем не брал в рот никакого вина. Ночью он лег поздно, но беспрестанно просыпался, точно будто после большого проигрыша. Ощущения были так сходны с этим, что он даже хватался два раза за свой бумажник и тщательно проверял свою наличность. Она была ничтожна: Фермор не пил, но пили другие, а как расчет был сообща, то, уплачивая поровну со всеми, он отдал почти все, что имел при себе. Во всяком

случае полученное им месячное жалованье ушло почти все без остатка.

Это его не могло не смутить, потому что такие расходы были возможны только для тех, кто «купался в золоте»; но кто хотел жить на одно казенное жалованье, для того траты в таком размере были не по силам. Фермор тут же ночью дал себе слово, что вперед в подобной компании он никогда участвовать не будет.

Кто хочет прожить честно, тот не должен быть транжиром и мотом. Он даже не должен стыдиться быть нищим. Иначе невозможно.

Фермор только немножко сожалел кое-кого из молодых инженеров, которых считал за людей лучшего порядка, и стеснялся, как он им откажет в товариществе. Но беспокойство его было напрасно: ни старшие, ни младшие, никто его сообщества более не искали. Другой месяц Фермор тоже «проходил присматриваясь», без особого назначения, а когда пришел день раздачи жалованья, «косоротый» подал ему казенные деньги в книжке и две пачки, перетянутые бумажною полоской, – за истекающий месяц и за прошедший.

Фермор притворился, что он этих денег как бы не заметил, и взял только одно жалованье.

«Косоротый» еще более скосоротился и спросил:

– Что ж?.. Опять не берете?

– Да, не беру и никогда не возьму, – резко отвечал Фермор и добавил, чтобы казначей на будущее время не смел и делать ему таких предложений.

– Хорошо-с, – отвечал «косоротый», и тут же, прежде чем Фермор успел выйти, он пошел с обеими пачками в руках в кабинет начальника.

Фермор не имел ни малейшего повода подозревать, что «косоротый» спрятал у себя его деньги, – напротив, он должен был думать, что деньги доставлены начальнику, как не принятые Фермором.

И действительно, дело так и было, и с этих пор все принимает совсем иной характер.

Дон-кихотство переходит в трагизм.

# Глава тринадцатая

Фермора совсем не позвали во второй раз в «гастрономию». Старшие, очевидно, не хотели его видеть, а из младших те, с которыми он ближе других сталкивался, были немножко сконфужены, и, наконец, кто-то из них, при каком-то рассказе о чем-то, происходившем в последний раз в «гастрономии», сказал Фермору:

– Мы вас с собою не звали потому, что нам всем было совестно: вы ничего не пьете, а между тем у нас плата общая. Вам это убыточно.

– Мне это *невозможно!* – отвечал Фермор.

– То-то и есть.

Молодой человек не искал пиров и не почитал себе ни за честь, ни за удовольствие пить и есть в «гастрономии», он даже (как выше сказано) сам желал от этого отказаться, но когда почувствовал, что его «выключили без прощения», и притом так решительно, так мягко и в то же время так бесповоротно, он сконфузился и, сам не сознавая чего-то, сробел.

– Как это так скоро и так просто? Я не сделал ничего дурного, а меня вышвырнули, как кошку за хвост... И еще извиняются... Это уже насмешка!

Но прошло несколько дней, и ему стало смешно, как его спустили.

К сожалению, не к чему было уже и приглядываться. Фермор видел, что его самого рассмотрели до дна и отставили, и вдобавок стала ходить какая-то сказка, будто он принял какую-то *шутку* казначея за серьезное предложение ему какой-то артельной взятки.

Это его возмутило: он пошел требовать от казначея объяснений и в пылу гнева чуть не поднял руку...

«Косоротый» скрылся, но рассказал историю.

На Фермора стали смотреть как на человека помешанного.

– Это Дон-Кихот; ему невеста что представляется; он никакой шутки не понимает и бросается на добрых людей.

Теперь, если бы он и захотел подчиниться общему положению и братски принимать дележи кружки, ему вряд ли удалось бы попра-

вить свое положение в обществе товарищей и старших, которых он всех без исключения обидел своим фанфаронством.

– Дрянной и беспокойный человек, – говорили о нем, и он слышал это и находил в себе еще более силы стоять на своем и не поддаваться.

К счастью, на каждого старшего у нас бывает еще высший старший, и Фермор надеялся найти себе защиту выше.

В числе рекомендаций, которыми Фермор был снабжен из Петербурга в Варшаву, у него было рекомендательное письмо к русскому православному викарному архиерею Антонию Рафальскому, известному своею странною и до сих пор невыясненною ролью по приему Почаевской лавры от униатских монахов, а потом впоследствии митрополиту новгородскому и с. – петербургскому.

Фермор, от скуки и досады, вздумал воспользоваться этим письмом и предстал викарию, который до вдовства своего жил в миру и знал толк в «обхождении».

Без всякого сомнения, он сразу же уразумел представшего перед ним молодого чело-

века и сообразил, что это – прекрасное, восторженное дитя, человек совсем не пригодный к жизни между людьми бойцовой породы, и Антонию, может быть, стало жаль «младенца», а притом и петербургская рекомендация, которую привез Фермор, имела вес в глазах Рафальского, который дорожил связями в Петербурге. Вследствие всего этого он нашел полезным принять в Николае Ферморе участие, чтобы иметь за то на своей стороне лицо, которое о нем писало.

По таким побуждениям, истинный смысл которых молодому идеалисту был недоступен, викарий варшавский принял в нем участие и воспользовался первым случаем ему помочь. При свидании с начальником инженеров в Варшаве Деном Антоний рассказал о Ферморе и сумел расположить Дена в его пользу.

Иван Иванович Ден особенно не вникал в просьбу, так как она представлялась ему очень неважною. Молодой человек томится, что ему не дают сразу много дел в руки, над чем командовать. Это часто так бывает: молодые люди всегда чем-нибудь томятся и хотят

выше головы прыгнуть, а это нельзя. А впрочем, молодой инженер, хорошо учившийся и хорошо рекомендованный учебным начальством, и также известен великому князю... и также просит архиерей... Отчего он остается в самом деле без назначения, тогда как инженерных работ множество? Об этом надо спросить.

Ден спросил, что это значит?

Ему отвечали, что молодой человек очень хороший и им очень довольны; что его и не думали оставлять без назначения, но надо было, разумеется, «присмотреться», к чему его можно лучше назначить.

– Ну да, ну да, это совершенно справедливо. Он мне и не жаловался, а архиерея там... за него просили, и он просит... Надо для него сделать.

– Да уж и сделали.

– Ну и прекрасно! – отвечал Ден и известил Антония, что все улажено: его protégé[9] дадут дело по силам, «а тогда мы не оставим это без внимания, и он будет награжден».

Антоний сейчас же послал за Фермором и поспешил его обрадовать, но был неприятно

поражен, заметив, что в нем «мало восторга», а «наиболее томности и унылости, как бы у человека, разочарованного жизнью».

Викарий его за это отечески пощунял и дал «к жизни наставление», заключавшееся в том, что надо хранить бодрость духа во всяких положениях.

– Духа в себе не угашайте и носа не вешайте, – учил епископ, – вперед очень быстро не устремляйтесь, да инии не возропщат, и позади не отставайте, да инии не вознепщуют. Надо держать серединку на половинке – себя блюсти и ближнего не скрести. А в заключение всего афоризм: не укоряй, и не укорен будеши, а укоришь других – укорят и тя.

Фермор этого нимало не боялся: за что его кто-нибудь может укорить? Но в отношении неудовольствия на начальство он почувствовал, что был неправ: начальник действительно выбрал и дал ему самое подходящее занятие, к которому ни с какой стороны не могло подползти никакое подозрение. Начальник поручил Фермору технические поверки, которыми, кроме его, занимались еще шесть человек, чинами старше и умом опытнее.

Назначение было почетное. Работа полезная и самостоятельная: смотри, вникай, сообщи, изложи критику и доложи умно и понятно.

Фермор и пошел усердствовать. Сколько ему ни дадут работы на руки, он все их к докладному дню в неделю окончит и представляет.

Его товарищи все враз на него перекошились. Первую, вторую неделю ему спустили, а потом один от лица прочих говорит:

– Вы что же это делаете? Отличиться, что ли, хотите?

Фермор отвечал, что у него и в помыслах не было искать превозвышения над товарищами, и, по его понятиям, он ровно ничего такого не делал, за что бы его можно укорить в честолюбии или в неблагородстве.

– А вы ведь имели время присматриваться, так вы разве не видите, что все по *одному* делу в докладной день представляют, а вы для чего тащите пять да шесть и из каждого показываете разную шерсть?

– Мне сколько поручают, я столько и представляю.

– Да разве это можно так делать?

– У меня много свободного времени, и я успеваю.

– Мало ли что вы успеваете! Вы вон и вина не пьете и в карты не играете – нельзя же требовать, чтобы так жили все. Если вам в тягость ваше свободное время, можете найти для себя какое угодно занятие, только не быть выскочкою против товарищей.

Фермор стал скучать и явился просить другого дела.

– Каков молодец! он уже недоволен своим положением и просит другого! Беспокоит главного начальника и архиерея. Трется попасть в амишки! – стали говорить одни, а другие прибавляли:

– Какие протекции! Из Петербурга его рекоменруют, здесь за него просят то архиерей, то сам Иван Иванович (Ден). Кому хотите дать столько протекций, всякий себе карьеру сделает.

А Фермору казалось, будто чем больше людей за него заступается, тем ему становится хуже.

Из Петербурга ему пишут, что он «не уме-

ет» пользоваться участием, а он не находит в этом участии того, что нужно, – не особых протекций, а возможности честного и усердного труда.

Он уже не знал, на кого роптать; все хороши – начальник его не порицал и не преследовал, а даже показывал, что очень доволен его усердием; и «косоротый» ему не предлагал пачек с бумажною полоской, а давал только то, что следует, и даже вслух приговаривал: «извольте столько-то рублей и копеек», и в «гастрономию» его не приглашали, но ему день ото дня становилось все тяжелее и невыносимее.

Антоний к нему продолжал благоволить и осведомлялся у его начальника: как он служит?

Тот отвечал, что он сам Фермором очень доволен, но удивляется и сожалеет, что тот очень неудобно поставил себя со всеми товарищами.

Викарий при первом свидании передал это Фермору и осведомился:

– В чем дело?

– Не гожусь, не подхожу, – отвечал Фермор.

– Отчего?.. Для чего вы такой зломнительный? Нехорошо иметь мрачный взгляд на жизнь. В ваши цветущие годы жизнь должна человека радовать и увлекать, Я о вас говорил с вашим начальником, и он вас хвалит, а отнюдь не говорит того, будто вы не подходите. Извините меня: вы сами себе создаете какое-то особенное, нелюбимое положение между товарищами.

Фермор вспыхнул и отвечал:

– Это совершенно верно: начальство относится ко мне теперь лучше, чем товарищи.

– Ну вот... Это нехорошо.

– Да; но чтоб они относились ко мне хорошо, – чтобы я был любим, – надо, чтоб я сделал... то... что совсем нехорошо.

– Что же это?.. Неужто вольномыслие?

– О нет! Я ничего не знаю о вольномыслии, – отвечал Фермор.

– Так что же? Фермор молчал.

– Верно, берут?

– Я ничего говорить не буду.

– Если это, то ведь что инженерия, что финансерия – это такие ведомства, где все берут.

– Зачем же это? Для чего это так? Викарий

долго на него посмотрел и сказал:

– Для чего берут-то?

– Да!.. Ведь это подло!

– Значит, поладить не можете?

– Не могу, ваше преосвященство, я к этому совсем от природы неспособен.

– Ну, способности тут не много надо.

– Взятка, мне руку прожжет.

– Прожечь не прожжет, а... нехорошо. Но дерзости не надо себе позволять.

Фермор понял, что передано что-нибудь об его сцене с «косоротым», и с горечью воскликнул:

– Ах, ваше преосвященство, какие дерзости! Они сами выводят из терпения, сами обижают, а потом лгут и сочиняют.

– Да, но все-таки на службе надо уживаться.

– Я не вижу никакой возможности уживаться с такими людьми и буду проситься в другое место.

– И на другом месте, может быть, встретите то же самое, ибо и там тоже будут люди.

– Но не все же люди одинаковы!

Антоний опять на него поглядел с сожалением.

нием и сказал:

- Да, иногда бывает и отмена.
- Я посмотрю, я верую встретить иное.
- Ну, веруйте... посмотрите.

В тоне викария было слышно утомление.

# Глава четырнадцатая

Ближайший начальник Фермора оказался зато так к нему снисходителен и милостив, что дал ему другое поручение, на которое Фермор уже не приходил никому жаловаться, но совсем не стал заниматься делом, а начал уединяться, жил нелюдимом, не открывал своих дверей ни слуге, ни почтальону и «бормотал» какие-то странности.

Антоний узнал об этом и послал просить его к себе.

Фермор пришел, но не только не опроверг перед викарием дошедших до него слухов, а, напротив, еще усилил сложившееся против него предубеждение. Он был сух с епископом, который за него заступался, и на вопрос о причине своего мрачного настроения и уклонения от общества отвечал:

– Я потерял веру в людей и не могу ничего делать.

Антоний не мог вызвать Фермора ни на какую бульшую откровенность и отпустил его, сказав, что он по его мнению, должно быть болен и ему надо полечиться.

Фермор ушел молча и еще плотнее заперся, а потом, призванный через несколько дней к начальнику, наговорил ему таких дерзостей, что тот, «желая спасти его», поехал к Антонию и рассказал все между ними бывшее и добавил:

– Если я дам этому ход, то молодой человек пропадет, потому что он говорит на всех ужасные вещи.

– Ай, ай!

– Да, он не только нарушает военную дисциплину, но... простите меня великодушно: он подвергает критике ваши архипастырские слова... Однако, как вы изволите принимать в нем такое теплое участие, то я не желаю вас огорчить и прошу вас обратить на него внимание: он положительно болен, и его надо увезти куда-нибудь к родным, где бы он имел за собою нежное, родственное попечение и ничем не раздражался. На службе он в таком состоянии невозможен, но его любит великий князь, и если вы согласитесь сказать об этом генералу Дену, то он, вероятно, напишет в Петербург и исходатайствует ему у великого князя продолжительный отпуск и средства

для излечения.

Антоний согласился вмешаться в это дело и вскоре же нашел случай поговорить о том с Деном.

Иван Иванович Ден зачмокал губами и закачал головой.

– Жаль, очень жаль, – заговорил он. – Я не прочь довести об этом великому князю и уверен, что бедняге разрешат отпуск и дадут средства, но прежде чем я решусь об этом писать, надо обстоятельно удостовериться о здоровье этого офицера. Я пошлю к нему своего доктора и сообщу вам, что он мне скажет.

Викарий известил Фермора, какое участие принимает в нем главный начальник, который пришлет к нему своего доктора, но это известие, вместо того чтобы принести молодому человеку утешение, до того его взволновало, что он написал викарию вспыльчивый ответ, в котором говорил, что доктор ему не нужен, и вообще все, что делается, то не нужно, а что нужно, то есть, чтобы дать ему возможность служить при честных людях, – то это не делается.

Дену устроить это ничего бы не стоило, но

он, к несчастью, тоже не так на все смотрит, потому что и сам...

Викарий увидал, что молодой человек уже слишком много себе позволяет: этак дела в государстве идти не могут.

Письмо осталось без ответа.

## Глава пятнадцатая

Посланный Деном его доверенный и искусный врач нашел Фермора в самом мрачном настроении, которое при первых же словах доктора моментально перешло в крайнюю раздраженность.

Молодой человек сначала не хотел ничего говорить, кроме того, что он физически совершенно здоров, но находится в тяжелом душевном состоянии, потому что «потерял веру к людям»; но когда доктор стал его убеждать, что эта потеря может быть возмещена, если человек будет смотреть, с одной стороны, снисходительнее, а с другой – шире, ибо человечество отнюдь не состоит только из тех людей, которыми мы окружены в данную минуту и в данном месте, то Фермор вдруг словно сорвался с задерживающих центров и в страшном гневе начал утверждать, что у нас нигде ничего нет лучшего, что он изверился во всех без исключения, что честному человеку у нас жить нельзя и гораздо отраднее как можно скорее умереть. И в этом пылу он то схватывал, то бросал от себя лежавший на

столе пистолет и порицал без исключения все власти, находя их бессильными остановить повсюду у нас царящее лицемерие, лихоимство, неуважение к честности, к уму и к дарованиям, и в заключение назвал все власти не соответствующими своему назначению.

Врач доложил об этом Дену и выразил такое мнение, что Фермор если и не сумасшедший, то находится в положении, очень близком к помешательству, и что ему не только нельзя поручать теперь служебные дела, но надо усиленно смотреть за ним., чтоб он, под влиянием своей мрачной меланхолии, не причинил самому себе или другим какой-нибудь серьезной опасности.

– Я и подозревал это.

Иван Иванович Ден послал доктора рассказать все Антонию, а сам немедленно довел о происшествии с Николаем Фермором до ведома великого князя. А Михаил Павлович сейчас велел призвать к себе Павла Федоровича Фермора и приказал ему немедленно ехать в Варшаву и привезти «больного» в Петербург.

Приказание это было исполнено: Николая

Фермора привезли в Петербург, и он стал здесь жить в доме своих родителей и лечиться у их домашнего, очень хорошего доктора.

Сумасшествия у него не находили, но он действительно был нервно расстроен, уныл и все писал стихи во вкусе известного тогда мрачного поэта Эдуарда Губера. В разговорах он здраво отвечал на всякие вопросы, исключая вопроса о службе и о честности. Все, что касалось этого какою бы то ни было стороной, моментально выводило его из спокойного состояния и доводило до исступления, в котором он страстно выражал свою печаль об утрате веры к людям и полную безнадежность возратить ее через кого бы то ни было.

На указание ему самых сильных лиц он отвечал, что «это все равно, – никто ничего не значит: что нужно, того никто не сделает».

– Они все есть, но когда нужно, чтоб они значили то, что они должны значить, тогда они ничего не значат, а это значит, что ничто ничего не значит.

Так он пошел «заговариваться», и в этом было резюме его внутреннего разлада, так сказать, «пункт его помешательства». О рас-

стройстве Николая Фермора скоро заговорили в «свете». Странный душевный недуг Фермора казался интересным и занимал многих. Опять думали, что он скрывает что-то политическое, и не охотно верили, что ничего подобного не было. А он сам говорил:

– Я знаю не политическое, а просто гадкое, и оно меня теснит и давит.

Душевные страдания Фермора, говорят, послужили мотивами Герцену для его «Записок доктора Крупова», а еще позже – Феофилу Толстому, который с него написал свой этюд «Болезни воли». Толстой в точности воспроизвел своего героя с Николая Фермора, а рассуждения взял из «Записок доктора Крупова», появившихся ранее.

Судя по времени события и по большому сходству того, что читается в «Записках доктора Крупова» и особенно в «Болезнях воли» Ф. Толстого, с характером несчастного Николая Фермора, легко верить, что и Герцен и Феофил Толстой пользовались историею Николая Фермора для своих этюдов – Герцен более талантливо и оригинально, а Ф. Толстой более рабски и протокольно воспроизводя из-

вестную ему действительность.

## Глава шестнадцатая

В таком положении, что называется ни в тех, ни в сих, Николай Фермор оставался несколько лет. Ему по временам то становилось немножко легче, то опять на него наваливала хандра и беспокойство, – он не вовремя уходил из дома и не вовремя возвращался, сердился за пустяки и не обращал внимания на вещи крупного значения. Но вообще он всегда выходил из себя за всякую самонаименнейшую недобросовестность. Он не спускал никому, если видел, что человек поступает несправедливо и невеликодушно против другого человека. Но если его ничто не раздражало, то он был тих и или ходил задумчиво, или сидел потупя взор, как Абадонна, и читал Губера.

Так бы, вероятно, тянулось многие годы, если бы не явился исключительный случай, какие, впрочем, в царствование Николая I бывали, свидетельствуя и теперь еще о сравнительной простоте тогдашних обычаев.

Однажды Павел Федорович Фермор, отправляясь на лето с полком в лагерь в Петер-

гоф, пригласил с собою туда больного брата. Тот согласился, и оба брата поселились в лагере, в одной палатке.

Николай Федорович был в это время в тихой полосе – он читал, гулял и мог вести спокойные разговоры, лишь бы они не касались его пункта – честности и начальства. Но в Петергофе преобладало карьерное настроение, и невозможно было уйти от частых разговоров о том, что одному удалось, а почему это же самое другому не удалось. Больной слушал все это и начал опять раздражаться, на него напала бессонница, которая его расстроила до того, что он стал галлюцинировать и рассказывал своему брату Павлу разные несообразности. Но как Николай Фермор все-таки был совершенно тих и ни для кого не опасен, то за ним не присматривали, и он выходил, когда хотел, и шел, куда ему вздумалось.

В таком-то именно настроении он в одно утро вышел из дома очень рано и отправился гулять в Нижний Сад. А в тот год государь Николай Павлович пил минеральные воды и также вставал очень рано и делал проходку прямо из Александрии по главной аллее Ниж-

него Сада.

Случилось так, что император и больной Николай Фермор встретились.

# Глава семнадцатая

Увидев государя, Николай Фермор стал, как следовало, и приложил руку к фуражке.

Государь взглянул на него и было прошел уже мимо, но потом, вероятно затрудняясь вспомнить, что это за инженерный офицер и зачем он здесь, оборотился назад и поманул Фермора к себе.

Фермор подошел.

Кто ты такой? – спросил государь.

Фермор назвал свое имя.

– Зачем ты здесь?

Фермор отвечал, что он был на службе в Варшаве, но имел несчастье там заболеть и, по приказанию его высочества, привезен своим братом Павлом в Петербург, а теперь находится для пользования свежим воздухом у брата в лагере.

Государь меж тем всматривался в его лицо и потом спросил:

– Ты был в инженерном училище, когда я был еще великим князем?

– Нет, ваше величество, – это был мой брат.

– Чем же ты нынче болен?

Николай Фермор смешался, и лицо его мгновенно приняло страдальческое выражение.

Государь это заметил и ободрил его.

– Говори правду! Что бы то ни было, мне надо отвечать правду!

– Ваше величество, – отвечал Фермор, – я никогда не лгу ни перед кем и вам доложу сущую правду: болезнь моя заключается в том, что я потерял доверие к людям.

– Что такое? – переспросил, возвыся голос и откидывая голову, государь.

Фермор спокойно повторил то же самое, то есть, что он потерял доверие к людям, и затем добавил, что от этого жизнь ему сделалась несносна.

– Мне не верят, ваше императорское величество, но я ужасно страдаю.

– Я тебе верю. Я знаю, это у тебя от Варшавы; но это ничего не значит – ты вздохнешь здесь русским духом и поправишься.

– Никак нет, ваше величество.

– Отчего нет?

– Нельзя служить честно.

Лицо Фермора приняло жалкое, угнетен-

ное выражение.

Государь был, видимо, тронут разлитым во всем его существе страданием и, нимало не сердясь, коснулся его плеча и сказал:

– Успокойся – я тебе дам такую службу, где ты будешь в состоянии никого не бояться и служить честно.

– Кто же меня защитит?

– Я тебя защищу.

Фермор побледнел и не отвечал, но левую щеку его судорожно задергало.

– Или ты и мне не веришь?

– Я вам верю, ваше величество, но вы не можете сделать то, что изволите так великодушно обещать.

– Почему?

Возбуждение и расстройство Фермора в эту минуту достигло такой высокой степени, что судорога перехватила ему горло и из глаз его полились слезы. Он весь дрожал и нервным голосом ответил:

– Виноват, простите меня, ваше величество: я не знаю почему, но... не можете... не защитите.

# Глава восемнадцатая

Государь посмотрел на него с сожалением и в это время, конечно, убедился, что он говорит с помешанным.

– Тебя лечили в Варшаве, когда ты заболел?

– Генерал Ден присылал ко мне своего доктора.

– И что же, он тебе не помог?

– Мне нельзя помочь, потому что я потерял...

– Да, да, я знаю, – перебил государь, – ты потерял доверие к людям... Но ты не робей: этим самым отчасти страдаю и я...

– Ваше величество, в вашем положении это еще ужаснее!

– Что, братец, делать! Но я, однако, терплю. Я бы тебе посоветовал искать утешение в религии. Ты молишься богу?

– Молюсь.

– У нас есть духовные лица с большою известностью, ты бы обратился к кому-нибудь из них.

– Я пользовался в Варшаве расположением

преосвященного Антония.

– Да, он красноречив. Религия в твоём положении может дать тебе утешение. Но ты ведь должен знать Игнатия Брянчанинова – он твой товарищ.

– Он товарищ моего старшего брата, Павла.

– Это все равно: я вас сведу. Иди сейчас в лагерь и скажи твоему брату, что я приказываю ему сейчас свезти тебя от моего имени в Сергиевскую пустынь к отцу Игнатию. Он может принести тебе много пользы.

Фермор молчал.

Государь пошел своею дорогой, но потом во второй раз опять остановился – сам подошел к стоявшему на месте больному и сказал:

– Иди же, иди! Иди, не стой на месте... А если тебе что-нибудь надобно – проси: я готов тебе помочь.

– Ваше величество! – отвечал Фермор, – я стою не потому, что хочу бульших милостей, но я не могу идти от полноты всего, что ощущаю. Я благодарю вас за участие, мне больше ничего не нужно.

По щекам Фермора заструились слезы.

Государь вынул свой платок, обтер его ли-

цо и поцеловал его в лоб.

Фермор тяжело дышал и шатался, но смотрел оживленно и бодро.

– Ты, братец, редкий человек, если тебе ничто не нужно; но если не теперь, а после тебе что-нибудь понадобится, то помни – я даю тебе право обратиться прямо ко мне во всякое время.

– Нижайше благодарю, ваше императорское величество, но никогда этого не сделаю.

– Отчего?

– У вас, ваше величество, столько важных и священных дел, что моя одинокая судьба не стоит того, чтобы вам обо мне думать. Это святотатство. Я себе не позволю вас беспокоить.

– Ты мне нравишься. Если не хочешь ко мне приходить, напиши мне и передай во дворец через генерал-адъютанта. Я буду рад тебе помочь; тебя кто теперь лечит?

– Доктор Герацкий.

– Он те годится – я поручу тебя Мандту. Прощай.

## Глава девятнадцатая

Когда Николай Фермор пришел в лагерь после свидания и разговора с государем, старший Фермор (Павел) еще спал. Николай его разбудил и стал ему рассказывать о том, как он повстречался с императором в Нижнем Саду и какой у них вышел разговор, причем разговор этот был воспроизведен в дословной точности.

Павел Федорович подумал, что вот именно теперь брат его совсем уже сошел с ума и галлюцинирует и зрением и слухом, но, по наведенным справкам, оказалось однако, что Николай Фермор говорит сущую правду. По крайней мере особливые люди, которым все надо видеть, – действительно видели, что император встретил Фермора в Нижнем Саду и довольно долго с ним разговаривал, два раза к нему возвращался, и обтер своим платком его лицо, и поцеловал его в лоб.

Всему остальному приходилось верить на слова больного и в этом смысле докладываться начальству.

Батальонным командиром у Павла Фермо-

ра в это время был Ферре. К нему к первому явился Павел Фермор, рассказал, что и как происходило, и затем просил разъяснить ему: как теперь быть, – оставить ли это без движения, отнеся все слышанное на счет больного воображения Николая Фермора, или же верить передаче и исполнять в точности переданное приказание государя?

Ферре был того мнения, что хотя Николай Фермор и считается человеком больным и очень легко может галлюцинировать, но что в данном случае он, по всем видимостям, говорит правду, и потому переданные через него приказания государя надо исполнить.

Тогда Павел Федорович Фермор взял экипаж, посадил туда больного брата и повез его в «пустыню» к Сергию.

## Глава двадцатая

Брянчанинова П. Фермор застал на службе: он совершал литургию. Ему доложили о прибывших к нему от государя братьях Ферморах, когда он вернулся из церкви домой и собирался в трапезу.

Игнатий принял братьев в своих покоях, при чем находился и Чихачев, на племяннице которого был женат Павел Федорович. Они поговорили здесь вкратце потому, что надо было идти в трапезную к братии. За трапезою в монастыре разговоры невозможны, но после трапезы до звона к вечерне подробнее поговорили обо всем, что вспомнулось, затем офицеры должны были возвратиться в лагерь.

Свидание «утратившего доверие к людям» Николая Фермора с Брянчаниновым и Чихачевым нимало не возвратило ему его утраты, а только исполнило его сильной нервной усталости, от которой он зевал и беспрестанно засыпал, тогда как брату его, Павлу Федоровичу, одно за одним являлись новые хлопоты по исполнению забот государя о больном.

Едва они подъехали к лагерю, как Павлу Фермору сказали, что его давно уже ищут.

– Но я не мог быть в лагере, потому что возил брата к Сергию по приказанию государя и сказался о том своему батальонному командиру.

– Все равно, – отвечали ему, – вас ищут тоже по приказанию государя, а батальонный ничего не сказал. Идите скорее в вашу палатку – там вам есть важное письмо.

Оказалось, что в лагере был самолично великая медицинская знаменитость своего времени доктор Мандт.

Он приехал в лагерь по личному приказанию государя, чтобы видеть Николая Фермора, и остался очень недоволен, что не нашел больного. Зато он оставил записку, в которой писал, что «сегодня от был экстренно вытребован государем императором, которому благогодно было передать на его попечение Николая Фермора, и ввиду этого он, д-р Мандт, просит Пв. Ф. Ф-ра, как только он возвратится в лагерь и в какое бы то ни было время, тотчас пожаловать к нему для личных объяснений».

Хотя время было уже поздновато, но Павел Фермор сейчас же отправился в город, на квартиру Мандта.

# Глава двадцать первая

**М**андт был дома. Он сидел на веранде и курил. Когда ему доложили о Ферморе, он его тотчас же принял и, дымя сигарою, сказал:

– Государь очень заинтересовался вашим братом. У него, как думает его величество, должно быть, есть склонность к меланхолии. Что вам известно о болезненном состоянии вашего брата?

Павел Федорович Фермор рассказал все, что ему было известно, но Мандт нашел это недостаточным: ему для уяснения себе дела и для доклада о нем государю нужно было иметь «историю болезни», написанную медиком, и притом все это надо было иметь в руках и завтра утром уже доложить государю.

По счастью, у Павла Фермора была история болезни, написанная врачом, пользовавшим его брата, но она была оставлена на городской квартире в Петербурге, а сообщения с Петергофом тогда были не нынешние.

Чтобы помочь делу, Мандт выдал Павлу Фермору билет на казенный пароход, отхо-

дивший в Петербург утром, и «история болезни» Николая Фермора поспела в руки Мандта вовремя. Он ее сразу прочел, все в ней понял и в тот же день доложил государю.

Государь был доволен, что приказания его исполняются так скоро и так точно: он благодарил Мандта и просил его принять к сердцу горестное состояние несчастного молодого человека.

– Его бред, – сказал государь, – исполнен такого искреннего благородства, что нечто подобное не худо бы иметь тем, которые пользуются цветущим здоровьем.

Мандт принял протянутую ему при этом руку государя и как бы из нее переданного ему больного Николая Фермора с его «утраченным доверием к людям».

Все семейство Ферморов было в восторге, все благословляли внимание государя и начали смотреть в будущее с новым упованием.

В обществе тоже говорили, что «теперь Мандт разорвется, а вылечит... Иначе, черт их возьми, – грош цена всей их науке».

Но сам Николай Фермор молчал и спокойно смотрел на все, что с ним делали. Все это

как будто не имело для него никакого значения. Мандт, так и Мандт, – ему все равно, при чем содействии утеривать последнее доверие к людям. Он точно как изжил всю свою энергию и чувствительность в своем утреннем разговоре с государем, и что теперь за этим дальше следует – ему до этого уже не было никакого дела.

Чем, как и где будет пользоваться его Мандт, – это его и не интересовало. Он теперь смотрел на дело как человек, для которого все эти хлопоты не важны и результат их безразличен, потому что он сам знает самое верное средство, как избавиться от тяжести своего несчастного настроения.

## Глава двадцать вторая

Тем, что описано в выше сего помещенных строках, выразилось самое сильное и самое большое напряжение усердия знаменитого врача к исполнению поручения, лично переданного ему самим государем. Доктор Мандт сделал больному только один неудачный визит, когда он не нашел Фермора в палатке петергофского лагеря. На другой день, как сказано, Мандт прочел наскоро историю болезни и сделал государю доклад, не посетив больного. И с этой поры он сам не посещал Фермора ни разу, а присылал своего ассистента, врача, тоже составившего себе впоследствии большое имя, Н. Ф. Здекауера. Если же государь спрашивал: видит ли он Фермора, то Мандт отвечал, что «видит», и, чтобы это не было неправдою, он тотчас же вытребывал пациента к себе на квартиру.

Для больного, который находился в таком состоянии, как Николай Фермор, не тяжело было исполнить это требование, и он на каждый зов тотчас же шел в квартиру Мандта (по Мойке, неподалеку от Полицейского моста, в

доме Беликова).

Таким образом прошел год и могло бы идти и дальше, но однажды раннею весной Николай Фермор во время прогулки опять попался на глаза императору Николаю Павловичу, и от этого случая произошла перемена, которая дала делу новое направление.

Государь встретил Николая Фермора на углу Невского и Большой Морской, у самого английского магазина.

Проходивший Фермор, заметив приближение государя, взял руку к козырьку и остановился.

Государь взглянул на него и сейчас же узнал.

– Фермор?

– Точно так, ваше величество.

– Как теперь твое здоровье?

– Я не чувствую, ваше величество, ни малейшего облегчения.

На лице государя выразилось неудовольствие.

– Что же делает с тобой Мандт?

– Он иногда присылает ко мне Здекауера, а иногда требует меня к себе.

– Ну, а что же вы делаете, когда ты к нему приходишь?

– Сначала я долго ожидаю его в приемной, а потом, когда он выйдет, пустит мне в лицо дым от сигары и скажет, чтобы я пил bitter Wasser.[10]

– И только?

– Только всего, ваше величество.

Лицо государя омрачилось, а Фермор воспользовался минутой этого разговора и напомнил государю о его дозволении обращаться к нему с просьбами.

– Ну, прекрасно, что же я могу тебе сделать?

– Прикажите меня лечить какому-нибудь доброму доктору из русских.

– Хорошо, – отвечал государь и, кивнув головой, удалился.

## Глава двадцать третья

Государь опять не забыл своего обещания. Не успел Фермор возвратиться домой, как его уже ожидал «ездовой» из дворца, посланный Мандтом с требованием, чтобы больной немедленно прибыл к своему знаменитому доктору.

Николай Фермор, нимало не раздумывая, пошел.

Мандт на этот раз не держал его долго в приемной.

– Вы на меня пожаловались государю? – встретил он его строгим вопросом.

– Я не жаловался. Государь изволил спросить меня: чем вы меня лечите, а я отвечал, что ничем не лечите, кроме как велите пить bitter Wasser. Я всегда говорю правду.

– Да, да, вы все с правдой... Но вы просили государя поручить вас другому доктору?

– Да, мне казалось, что вам, при вашем положении, некогда мною заниматься, и я просил его величество дозволить мне пользоваться советом другого доктора.

– Государь удовлетворил вашу просьбу. По

вашему желанию, вам назначен другой врач. Отправьтесь на Михайловскую площадь, в дом Жербина, там живет главный доктор учреждений императрицы Марии. Государь ему поручил вас, и я ему уже передал историю вашей болезни.

В семейных мемуарах, которыми я пользовался для составления настоящего очерка, не названо имени врача, сменившего в этой истории доктора Мандта. Способ его лечения, однако, тоже не отличался удачею, но зато приемы отличались от системы Мандта гораздо большею решительностью.

Новый врач не томил Фермора в своей приемной и не посылал к нему на дом помощника, а нашел нужным подвергнуть его болезненные явления более основательному и притом постоянному наблюдению, для чего самым удобным средством представлялось поместить пациента в больницу душевных больных «на седьмую версту».

Родных Фермора эта мера поразила самым неприятным образом, так как, по их мнению и по мнению всех знакомых, не предстояло решительно никакой необходимости лишать

несчастливого Николая Фермора той свободой и тех семейных радостей, которыми он пользовался в домашней обстановке.

Но врач был непреклонен в своем мнении: он находил необходимым удалить пациента от его домашней обстановки и всю прежнюю безуспешность лечения приписывал тому, что больной ранее не был устранен из дома и не находился под постоянным надзором.

Возражать и спорить, однако, было невозможно: врач иначе не находил возможности приступить к лечению и в случае противодействия родных пациента обещал доложить о том государю.

Одни видели в этом необходимость, а другие подозревали в докторе желание – прежде всего обезопасить себя от повторения такой случайности, которая была причиной перехода Николая Фермора к нему от Мандта. И подозрение это имело основание. Пока Николай Фермор оставался в своем семействе и выходил свободно гулять по городу в своей военной форме, он опять мог как-нибудь встретиться с государем, и это могло дать повод к беспокойствам, между тем как с удалением

его «на седьмую версту» возможность такой встречи устранялась и всем становилось гораздо спокойнее.

Мандт сам или не отваживался предложить эту меру, или она ему не приходила и в голову, но когда это было высказано его собратом русского происхождения, он ее поддержал, как меру вполне сообразную и самую полезную для основательного наблюдения за больным.

Государь убедился мнением знаменитых врачей, но и на этот раз не оставил Фарфора без своей опеки. Он велел поместить Николая Фермора на седьмую версту, но зато приказал его доктору «навещать больного как можно чаще и непременно раз в неделю лично докладывать о состоянии его здоровья».

Через такой оборот положение нового врача делалось несравненно более трудным, чем было положение Мандта.

## Глава двадцать четвертая

Это, с одной стороны, успокоило родных больного, что Николай Федорович не будет на седьмой версте заброшен, как все прочие, которые имели несчастье туда попадать, а с другой стороны – создало находчивому доктору совершенно непредвиденное и очень тяжелое и неприятное положение, которого он не желал. Мудрец попался. Он должен был два-три раза в неделю ездить в больницу «Всех скорбящих», что ему было беспокойно и невыгодно, а потом раз в неделю являться к государю и давать утомительно однообразный отчет, так как с больным никаких перемен не происходило, а повторять все одно и то же через неделю перед государем было отнюдь не приятно.

Кроме того, это могло государя рассердить и иметь для карьеры врача дурные последствия.

«На седьмой версте» тоже не рады были такому гостю, как Николай Фермор, который блажил, но все понимал и, видя жестокие порядки, которые тогда были в сумасшедших

домах, вступался за тех, кого считал обиженным.

Нет сомнения, что и в больнице «на седьмой версте», как и в других подобных учреждениях, люди допускали злоупотребление своею силой над больными.

Фермор же все это видел, и если бы государь вдруг пожелал его посетить (что, по характеру и обычаям императора, почитали за очень возможное), то неутомимый правдолюбец мог наделать больших хлопот; а их через него и так вышло уже немало.

Надо было от него совсем избавиться, и у медицинской политики не оказалось для этого недостатка в средствах.

## Глава двадцать пятая

Врач, наблюдавший за Николаем Фермором, хотя и претерпел на первых шагах неудачу, но оставался на высоте дипломатической линии; он доложил государю, что в Берлине открыта новая частная лечебница для душевных больных, которою заведует знаменитый психиатр, и что у него получают удивительные результаты излечения.

– Так что же? – воскликнул государь, – послать туда, на мой счет, Фермора.

Это было как раз то, что было всего желательнее врачам, которым возня с Фермором чрезвычайно надоела.

– Только я приказываю, – добавил государь, – чтобы больной был послан как можно удобнее. За безопасность его мне отвечают.

К исполнению этого тотчас же были приняты самые энергические меры.

Лучшее сообщение с Берлином тогда представляли пароходы, отправлявшиеся из Петербурга в Штетин; с ними и ехали за границу. А из пароходов, совершавших эти рейсы, самым удобным и комфортабельным по тому

времени почитался пароход «Александр». На нем ездила лучшая публика. По крайней мере все места в весенних рейсах «Александра» обыкновенно сберегались для особ знатных. На этом пароходе, в первый его весенний рейс, и назначено было отправить Николая Фермора с его провожатым.

Брат Николая Федоровича, Павел Фермор, о котором неоднократно приходилось упоминать в этой эпопее, не мог сопровождать больного в Штетин. Он нужен был по службе в петергофском лагере, а Николай Федорович был поручен смотрению своего товарища, по фамилии Степанова, которому вместе с больным были поручены и деньги на его расходы и подробная инструкция, как больного везти, оберегая его от всяких опасностей в пути. Он же должен был и устроить Николая Фермора в Берлине, согласно воле и приказанию императора.

Это препоручение Николая Фермора другому лицу, без сомнения, должно служить доказательством, что больной в это время уже был окончательно признан за сумасшедшего, а то, что его помещали все-таки на самом луч-

шем пароходе, которым пользовались по преимуществу особы знатные, указывает, как старались сберечь этого больного, пользовавшегося вниманием государя.

Лучше уже ничего нельзя было сделать для того, чтобы доложить государю, как тщательно и серьезно исполнена его воля.

Пароход шел с отменным обществом, в котором, между прочим, блистали своим присутствием: бывший новороссийский генерал-губернатор Воронцов со всем своим семейством, тайный советник Бек и много других особ того и другого пола, занимавших видное положение в тогдашнем высшем обществе и пользовавшихся в нем большим влиянием.

# Глава двадцать шестая

День был самый погожий и жизнерадостный. Отъезжавший Николай Фермор находился в очень спокойном, философском настроении.

На стене его комнаты, в доме, за седьмою верстой, осталось начертание апофегмы Гиппократата: «Quod medicamenta non sanat, ferrum sanat; quod ferrum non sanat – ignis sanat; quod ignis non sanat, mors sanat» (то есть «что не лечивают лекарства, то лечивает железо; что не лечивает железо, то лечивает огонь; что не лечивает огонь, то лечивает смерть»).

Кому эта апофегма сильно понравилась и кто заботливою рукой воспроизвел ее на стене своего печального жилища, тот, вероятно, имел твердый взгляд на жизнь.

Фермор не радовался отъезду за границу и не скучал о том, с чем расставался на родине. Излечиться от своей меланхолии он был рад, но, по-видимому, отнюдь не верил в возможность излечения.

Эта предубежденность, по мнению врачей,

и портила все дело. А у больного был против этого свой довод: он находил, что нельзя же вернуть себе доверие к людям, если они этого доверия к себе не внушают.

Брат проводил больного до Кронштадта, где у них произошло последнее, трогательное прощание; но горечь разлуки для Павла Фермора была сильно облегчена общим участием пассажиров к его больному брату.

Как только эти уважаемые люди узнали на переезде до Кронштадта, что с ними едет тот Фермор, которому оказывает отеческое внимание государь, то все тотчас же наперерыв старались обнаружить к Николаю Фермору самую теплую, родственную заботливость. Зачем ему брат? – он в каждом здесь находил самого нежного родственника.

– Ведь все мы русские, все дети одного царя и братья по вере.

Тайный советник Бек привел даже по-церковнославянски от Писания об ангелах, которым заповедано сохранить и взять человека на руках своих. Да если бы молодой человек и не внушал ничего сам по себе, то одного того, что он лично известен государю и его величе-

ство имеет о нем попечение, было бы чересчур достаточно, чтобы все считали своим долгом сберечь его, позабыв сами себя.

Лучше, кажется, уже нельзя было отправить больного, как он отправлялся, и Павел Фермор в полном спокойствии возвратился к своему полку в петергофский лагерь, а на третий день после проводов брата поехал к своей тетке, которая тогда проводила лето на даче близ Сергия, и там скоро получил неожиданное известие, как отменно уберегли на пароходе его брата.

## Глава двадцать седьмая

В то время, когда Павел Федорович Фермор сидел у тетки, к ней завернули проездом с бывшего в тот день в Красном Селе развода три уланские офицера, из которых один, Карл Пиллар фон Пильхау, начал с сожалением рассказывать, что развод не удался.

– Кто же в этом виноват? – спросила хозяйка.

– Никто не виноват, но государь приехал огорченный и оттого благодарил мало.

– Что же такое опечалило государя перед разводом?

Пиллар пожал плечами и сказал:

– Государю совсем не вовремя, перед самым его отъездом на развод, подали печальное известие.

– О чем?

– О неприятном происшествии с одним инженером, подпоручиком Фермором. Государь принимал в нем участие, и гибель его страшно его величество огорчила.

Хозяйка только в эту минуту заметила свою оплошность: она думала, что приехав-

шие кавалеристы знакомы с Павлом Федоровичем Фермором, и потому их не познакомила.

Теперь она поспешила это сделать, но не могла уже поправить этим ужасного впечатления, произведенного словами Пиллара на Павла Фермора.

Павел Федорович, однако, совладал с собою и сказал, что он в силах все выслушать и просит одной милости – сказать сейчас как можно скорее, в чем заключается печальное известие о его брате.

– Я должен скорее это знать, чтобы спешить, что можно поправить.

– Увы, – отвечал Пиллар, – дело кончено, и никакая поправка невозможна. Если вы тверды, как должен быть тверд в несчастье уважающий себя мужчина, то я вам скажу, что брат наш погиб невозвратно.

– Как, где и каким образом?

– Он бросился с корабля в море и утонул. Это случилось близ острова Борнгольма.

Тогда помянулась Гиппократова апофегма, начертанная на стене за седьмую верстой:

«*Quod medicamenta non sanat – mors sanat*».

Утраченное доверие к людям уврачевала  
смерть...

## Глава двадцать восьмая

Но краткое известие о том, что «Николай Фермор бросился в море и утонул», достаточное для начальства, не удовлетворяло родных и друзей погибшего. Им хотелось знать: как могло случиться это трагическое происшествие при той тщательной бережи и при той нежной предусмотрительности, с которыми больной был отправлен.

Об этом существовали две версии.

Г-н Степанов, принявший на свое попечение Николая Фермора, по возвращении из-за границы рассказывал происшествие Павлу Федоровичу Фермору следующим образом. Несчастье случилось вскоре после обеда. Погода была прекрасная, и все пассажиры после стола вышли на палубу, чтобы пить кофе. Из всей знати остались внизу только два-три человека, которые не пили послеобеденного кофе и предпочитали послеобеденный сон. Николай Фермор был в числе вышедших на палубу. Он был в спокойном расположении и за столом хорошо кушал.

На палубе пассажиры разместились с чаш-

ками кофе по группам, и все вели оживленные разговоры. Николай Фермор пил свой кофе, сидя в сообществе нескольких человек, и когда его чашка была уже им допита, он поставил ее на рубку, а сам встал с места и отошел к борту, и затем сию же минуту наступил ногою на перекладину и, перекинувшись через перила, бросился в воду на глазах всех пассажиров...

Всех объял неописанный ужас, и поднялось страшное смятение, в котором ничего нельзя было разобрать.

Пока в этой суматохе отыскивали и вызвали наверх капитана, пока успели остановить пароход и спустить шлюпку, Николай Фермор вынырнул и стал грести руками, держась на волнах; но когда шлюпка стала к нему приближаться, он ослабел или не захотел быть спасенным и пошел ко дну.

Спасти его было уже невозможно, и пароход, при неописанном ужасе пассажиров, продолжал дальше свое плавание к Штетину.

# Глава двадцать девятая

Другая версия, которую мне привелось слышать от контрадмирала А. В. Фрейганга, человека замечательной искренности и справедливости, совсем не сходна с тою, которая приведена выше, и представляет дело в ином виде.

По второй версии, Николай Фермор погиб еще проще и незатейнее. Общество за столом действительно все было очень оживленно, и все были заняты вновь образовавшимися на пароходе знакомствами. Николай Фермор ничего не пил и был спокоен, но какого сорта было его спокойствие, это мог знать только он сам.

Когда обед был кончен, Фермор вышел из столовой раньше всех прочих, и после того его уже никто не видал. Налитая для него чашка кофе действительно осталась на рубке, но кофе в ней был цел, и потому нельзя с утвердительною сказать, кто ее там поставил, Фермор или разносивший кофе кельнер. Хватились же Фермора не сразу, а случайно, когда тайный советник Бек, посоветовавшись

с Морфеем, вышел из каюты на палубу и, освежительно зевнув, спросил:

– А где же этот ваш... как его... что едет по приказанию государя?

Тогда стали оглядываться по всем сторонам и заметили, что Фермора нет. Но при этом сразу никто не предполагал, что он погиб в волнах, а думали, что он запропастился где-нибудь на пароходе, и потому суетились, бегали, искали его по всем местам, где можно и даже где нельзя человеку спрятаться... Но все поиски оказались тщетны, – и только тогда, когда были осмотрены все закоулки и все мышинные норочки, – тогда впервые у капитана явилось ужасное предположение, что Фермора нет на пароходе.

– Где же он делся? Вокруг вода и небо и ничего больше.

Кто-то, отличавшийся логическим настроением ума, все обнял мыслью и сказал:

– Если он не взят за правдолюбие живой на небо, то он, очевидно, утонул в бездне моря.

К стыду человечества, эта циническая шутка для многих облегчила тяжесть впечат-

ления. Ужас был, но небольшой, и то он чувствовался более к ночи, когда дамам стало представляться, будто из волн «поднимается голова».

Чтобы избавиться от этого привидения, все поспешили скорее сойти в освещенные каюты, а на другое утро тайный советник уже советовал видеть во вчерашнем событии указание – «как наша молодежь относится к жизни и как она мало способна ценить милости».

Согласить эти две версии так, чтобы сделать из них какой-нибудь общий вывод, конечно, невозможно, но я не знаю, которой из них следует дать предпочтение перед другою в рассуждении справедливости. Летом 1887 года с парохода рижского общества, носящего то же самое имя, каким назывался пароход, с которого пропал Николай Фермор, одна молодая дама бросилась в море и утонула так, что этого никто не заметил. Известно и несколько других точно таких же случаев. Следовательно, нет ничего невозможного, что Николай Фермор, при большом оживлении пассажиров, занятых новыми интересными знакомствами, очень легко мог укрыть свое на-

мерение и покончил со своею безотрадною жизнью так, как сообщает вторая версия этого рассказа.

## Глава тридцатая

В обители св. Сергия тоже знали эту вторую версию и едва ли не давали ей больше веры, чем первой. Брянчанинов и Чихачев были огорчены гибелью молодого человека, одного с ними воспитания и одних и тех же стремлений к водворению в жизни царства правды и бескорыстия. Монахи считали гибель Фермора тяжким преступлением для всех русских, бывших на пароходе. По их понятиям, эти господа могли меньше говорить о том, как им близок бедняк, о котором заботился их государь, но должны были больше побережь его.

Но все было кончено. Иноки отслужили панихиду о погибшем мученике томительных стремлений к неосуществимой в то время служебной честности, и схимник Чихачев, опустив голову, пропел своею удивительною октавой «плачу и рыдаю».

Так отошли от жизни три страстно стремившиеся к праведности воспитанника русской инженерной школы. На службе, к которой все они трое готовились, не годился из

них ни один. Двое первые, которые держались правила «отыди от зла и сотвори благо», ушли в монастырь, где один из них опочил в архиерейской митре, а другой – в схиме. Тот же третий, который желал перевестись со злом и побороть его в жизни, сам похоронил себя в бездне моря.

*Впервые опубликовано – «Русская мысль», 1887.*

# Примечания

«Жизнеописание епископа Игнатия Брянчанинова» говорит, что великий князь *приказал кадету прийти во дворец*, но генерал Пав. Фед. Фермор, товарищ Брянчанинова, помнит, что Николай Павлович *взял Брянчанинова с собою. (Прим. Лескова.)*

[^^^]

В книге о жизни Брянчанинова, на стр. 15-й упоминается, что «в то время разнообразные религиозные идеи занимали столицу северную, препирались и боролись между собою», но не показано, как эта борьба касалась Брянчанинова и Чихачева, а не касаться их она не могла. Устные указания на то, что они читали сочинения митрополита Михаила, отнюдь не представляются невероятными. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Рассказ о близости Брянчанинова и Чихачева с Виктором представляется странным и почти невероятным. Известно, что они ходили в лавру к духовнику, и что лица, желавшие отклонить их от набожности, делали в этом направлении большие усилия. Не следует ли думать, что юноши, с своей стороны, старались скрывать, к кому именно они ходили в лавру, а их товарищи думали, что они ходят к веселому Виктору?

[^^^]

Михаил Десницкий, из студентов Московской академии, был приходским священником, потом придворным священником Зимнего дворца, потом придворным иеромонахом и с 1818 года митрополитом петербургским. Скончался 24-го марта 1821 года. Сочинения его до сих пор многими любимы и высоко ценятся, но они редко встречаются в продаже. Специалисты, впрочем, находили в них большие недостатки. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

## 5

Эта часть рассказа совершенно несогласна с тем, что читается в жизнеописании Брянчанинова, и представляется настоящею легендой, в которой удаление молодых людей от мира желали представить как можно эффектнее. Однако рассказ этот держится в этом виде до сих пор, и ему верят, несмотря на то, что книга передает дело иначе. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

## 6

На самом деле Брянчанинов попал в Бабайки только в конце своей монашеской жизни, а Чнхачев был здесь очень короткое время для свидания с другом. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

На это есть и указания в «Жизнеописании» (стр. 66 и 67). (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Павел Федорович Фермор впоследствии достиг существенной высоты служебного положения и был начальником военно-юридической академии, образованной из аудиторского училища. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

протеже (*франц.*)

[^^^]

горькую воду (*нем.*)

[^^^]